

Г 2005
796 к

БИБЛИОТЕКА
КАЗАХСКОЙ
ПРОЗЫ

АБИШ КЕКИЛБАЕВ



Баллада
забытых лет

АБИШ
КЕКИЛБАЕВ

Баллада
забытых лет

Повесть

Перевод *Анатолия Кима*



«АУДАРМА» БАСПАСЫ
АСТАНА-2003

ББК 84 Каз-44

К33

ВЫПУЩЕНА ПО ПРОГРАММЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ,
ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кекилбаев А.

К33 Баллада забытых лет. Повесть.

Астана: Аударма, 2003. — 152 стр.

ISBN 9965-18-069-5

“Баллада забытых лет” выдающегося казахского писателя Абиша Кекилбаева покоряет с первых страниц. Читатель сразу как бы входит в полноводную грохочущую реку, и магнетическое напряжение потока-повествования захватывает его, до последних страниц не отпуская из своих обжигающе-трагических вод. Эта баллада, сжимающая сердце болью и сочувствием, повествует о жестоком противоборстве двух братских народов, которым стала тесна Степь. Пафос, идея повествования как никогда актуальны сегодня, в XXI веке, когда возникла угроза потери духовности и нравственных корней, и мы возлагаем особые надежды на культуру, на искусство, творчество. Их очистительный огонь поможет искоренить жестокость, зло, недоверие. И одухотворит самые жестокие сердца, как это смог сделать легендарный казахский кюйши.

К 4702250201-74
00 (05) - 03

ББК 84 Каз-44

© Издательство «Аударма», 2003

ISBN 9965-18-069-5 © ООХКГ Казахстана, Л. Тетенко

БАЛЛАДА ЗАБЫТЫХ ЛЕТ

I

На выгоревшем просторном угоре, опаленном полуденным жаром солнца, в струях зыбкого марева стоит аул, словно плывет по морю степному, ровному и бескрайнему. Смотрите, как пустынна степь, и ни крутого бугорка на ней, ни плавного всхолмия, — одна раскаленная зноем плоская земля. И лишь на другом краю размытого окоема вскинулся к небу, словно острый наконечник копья, одинокий высокий курган. А на самой вершине кургана виден бдительный дозорный, озирающий враждебные дали. Но и за самим дозорным наблюдают из аула, сквозь деревянные решетки, из-под откинутого войлока юрты, чьи-то цепкие сощуренные глаза, сверкающие в глубоких глазных впадинах.

Далеко просматривается степь с макушки остроконечного красно-глинистого кургана, ровного, крутосклонного, словно искусственно насыпанного, и люди в ауле озирают через бдительные очи караульного все тридевять земель окружающего пространства. И могут быть спокойны жители аула, пребывающие под раскаленным зноем в своей полуденной дреме, и

ловить чуткими ноздрями привычные запахи мирной степной жизни — кислотоватые, терпкие испарения конской мочи и человеческого пота, горьковатый сухой настой душистых стелных трав. Знойно, тихо, дремотно. Утомонились даже поджарые длинноногие верблюжата, перестали играть, реветь, дурашливо носиться между юртами и улеглись в тени за ними. В юртах тоже все замерло и утихомирилось. Сидевшие вдоль стен тесным кругом туркмены в лохматых папах также умолкли, уже не бросая друг на друга молчаливых колючих взглядов. Некоторые из них прикрыли глаза и, роняя головы на грудь, заклевали горбатыми хищными носами, погружаясь в сонную дрему. И даже остался нетронутым чай в пузатом полосатом кумгане.

Неподвижно замершая, прямая фигура караульного на вершине кургана торчала, как вбитый кол. И вот смотрите — уже все головы в высоких папах постепенно склонились на грудь, словно не выдержав тяжести меховых шапок. И лишь один из сидевших в юрте, смуглый человек с сухим жестким лицом, с разваленной на две стороны черной с проседью бородой, держался прямо, недвижимо, расправив плечи и выставив широкую, крутую грудь, и по-прежнему цепким взглядом из глубоких глазниц смотрел на дозорного с вершины далекого кургана. От его седоватых, кустистых бровей словно веяло холодком инея. А рядом с ним, по левую руку, сидел седой, как лунь, старик в белой поярковой шапке и перебирал, перекаты-

вал жилистыми пальцами гадательные фишки, сухие ягоды джиды, разбросанные на шкурке белого козленка. При этом он с глубокомысленным видом покачивал головою. А могучий туркмен с раздвоенной бородой лишь мельком бросил взгляд на белоголового старика и вновь устремил свой орлиный взор в степную даль. Могло показаться, что старый воин зачарован клочком голубого неба, сиявшего в прорехе юрты.

Но вот словно кто-то тронул за плечо одного из сидевших, поджарого, жилистого туркмена в полосатом чапане — он шевельнулся и быстро поднял голову. Это он с самого утра был назначен следить, глаз не спускать со стерегущего на холме дозорного. И тут, словно по неслышиму оклику, разом очнулись и подняли головы остальные туркмены в юрте. Шевельнулись, закачались папахи, смуглые лица обратились к тому, седоватому, с раздвоенной бородой. Следуя за его настороженным взглядом, все уставились вдаль сквозь решетчатый остов юрты. И увидели, что с восточной стороны от кургана в блеклой степи появилось несколько темных точек. Казалось, они не сдвигались с места, и все же эти точки появились там, где раньше их не было. Однако караульный на холме остался безучастен и по-прежнему неподвижен на своем посту. Могучий батыр с раздвоенной бородой продолжал молча смотреть в далекую голубую даль неба, словно любуясь им, и тогда папахи стали снова сонно клониться вперед, а крючковатые носы — клевать воздух.

Между тем, присмотритесь, — черные точки неподвольт приблизились к аулу. И вот мы уже ясно можем различить в них людей. О, это были печальные рабы, попавшие в плен к туркменам казахи! Прошлым летом они оказались в неволе. В прошлом году они утратили облик человеческий. И это он — с раздвоенной бородой, с колючими, словно побитыми инеем, седоватыми бровями, суровый воитель, совершил стремительный дерзкий набег на аул рода Дюимкары и увел в плен шестерых девушек, которым не было и по шестнадцати лет, а также шестерых еще безусых казахских юношей. Шесть девушек-казашек, шесть нежных красавиц были гордыми дочерьями адайцев, и род Дюимкары навсегда лишился их. А все мужское племя туркменского аула Мамбетпаны, куда их отдали, едва не сошло с ума при виде столь прелестных, нежных, кровь с молоком, черноглазых юных казашек. Горделивые, уверенные в себе джигиты из богатого аула потеряли всякое самообладание при виде чужеродных пленных красавиц и передрались между собой, едва не поубивали друг друга, желая корыстно поделить переданную им военную добычу. И ходит молва, что до сих пор еще не поделили наших красавиц. О, какая печальная слава, какая горькая доля!

Пленных же юношей суровый захватчик, воитель Жонеут, — таково имя двоякобородого батыра, — пригнал в свой аул. Он кликнул родичей и объявил им свое решение насчет молодых

казахов. Седого аксакала, гадальщика Анадурды, немедленно послал в аул Мамбетпаны. Пусть Мамбетпана отдаст за шестерых пленных казашек всего лишь одного белого верблюжонка, того самого, который стал добычей при набеге на Хорезм. Этот верблюжонок пойдет на заклятие на поминках младшего брата воителя Жонеута. В туркменских степях его брата звали по кличке Кекборе, Лютый Волк, имя же настоящее было у него Дурды. Теперь же на его могиле будет совершена достойная тризна и свершится та месть казахам-адайцам, которую задумал старший брат убитого. О, эта месть запомнится адайцам, и кровь будет стечь в их жилах при упоминании о ней!

И вот белый, резвый, с тугими налитыми горбами, статный верблюжонок-однолеток в тот же день был доставлен из аула Мамбетпаны. На ночь его, стреноженного, выпустили попастьись на нетронутую траву, на лужайку за аулом, где еще не ходила скотина. И три верховых джигита всю ночь стерегли его.

Месть и тризна по убитому Кекборе давно были обещаны, и туркмены с нетерпением целый месяц ждали этого события. И настал день. Из аула отправился в степь целый караван. Пленных казахских юношей связали сыромятными ремнями, усадили на безгорбых тощих дромадеров. Устало поникнув, уронив голову на грудь, пленники тряслись в самом конце каравана. Где-то далеко впереди промелькнули в последний раз белый горб резвого верблюжон-

ка, мучнистая густая пыль, поднятая копытами туркменских скакунов и верховых верблюдов, еще не улеглась на дороге, как уже прибыли к месту и остановились у высоких зарослей черной полыни. Ехали недолго — столько времени, сколько понадобилось бы, чтобы неспешно попить чаю за дастарханом. И вот в зарослях полыни измученные ездой пленники увидели наконец маленький земляной холмик. Гулкий топот копыт по сухой, твердой дороге постепенно смолк, дромадеры остановились, и сидевшие на них пленные казахи смогли наконец выправиться на острых, как ножи, хребтинах тощей скотины. Ремни и веревки до крови растерли ноги и руки, и едкий верблюжий пот разъедал кровоточащие раны пленников. Их еще долго держали на верблюдах, не спуская на землю, и можете представить, каковы были муки молодых казахских джигитов, которые еще ничего не понимали и не знали, что их ожидает.

У одинокого холмика туркмены спешились. Окружили могилу тесным кругом и, стоя на коленях, стали читать молитву из Корана. Держа перед собой раскрытые мозолистые ладони, суровые воины молились, затем провели руками по лицу. Смотрите!— их прищуренные хищные глаза на мгновение утратили воинственный блеск и смягчились, присмирели. Тишина объяла грозный круг, казалось, туркменов охватила необычайная робость. В наступившей тишине не раздавалось даже звяканья стремян. Тихо, умиротворенно звучал глуховатый голос муллы.

Но вот молитва закончилась. Разом все встали на ноги, гортанно загалдели, стали отряхивать колени — и белое облако пыли вниз поднялось над толпою. Вместе с белой пылью взвилась к небу и отлетела недавняя молитвенная тишина. И вот началась опасная, грозная возня человекoв, и вот туркмены подвели белого, упирающегося верблюжонка к юго-западной стороне могилы. Мулла в белой чалме выступил вперед и прочел коротенькую суру из Корана. Толпа вновь дружно пала на колени, и широко раскинув руки, воины молили Всевышнего принять их священную жертву, белую невинную годовалую самку-верблюдицу из Хорезма. Пятеро джигитов, высоко закатав рукава, мгновенно завалили верблюжонка и умело, быстро его зарезали.

На трех вырытых ямах утвердили котлы, залили их водой, разожгли под ними огонь. Густой, едкий дым еще полусырой травы поплыл над степью, постепенно поднимаясь к небу бурыми облаками. Глядят на них пленные казахи, которых наконец-то ссадили с безгорбых верблюдов на землю, и все это так знакомо по жизни, — и дым, летящий над кострами, и люди, собравшиеся на поминки. Только происходит все это чуть по-другому, нежели у адайцев. Те шумят больше, размах у них более широкий, движение более живое. А здесь не слышно громкого смеха и гортанных криков, не спорят между собою, не зазвучит внезапная песня и не забренчит где-нибудь тихая домбра. Не видно раз-

горяченных джигитов, задорных подростков в сторонке, которые, словно юные хищники, крутятся возле стайки нарядных девиц и молодых, гибких, затянутых в талии кумачовыми шелковыми поясами. Не поставлена ни одна юрта на месте поминок. Не звенят монисты на девушках. И чистокровные прекрасные аргмаки, чьих тонких бабок на стремительном скаку не успевает даже коснуться пыль дорог, томятся на привязи, скучливо поматывая головами.

Кругом одни суровые, насупленные лица воинственных туркменов, они пришли на поминки, увешанные кинжалами и саблями, словно побоялись оставить дома, где могут, набежав внезапно, их украсть неведомые враги.

Вот наконец разнесли на широких деревянных блюдах дымящееся мясо верблюжонка, туркмены быстро поели и еще раз помолились, читая из Корана. И смотрите, смотрите — уже выводят на круг шестерых пленных молоденьких казахов! Каждого юного пленника держат под руки двое дюжих воинов. К ним навстречу шагнули шестеро хмурых туркменов с закатанными рукавами, держа сверкающие кинжалы. Пленники с ужасом и мольбою смотрели на них, но на суровых лицах подошедших они не увидели и тени жалости. Это были обожженные солнцем, сухие, жесткие бесчувственные лица. Глядите — все шестеро одновременно подняли кинжалы и простерли их к юным головам пленников. Те съежились, их лица стали как сухие костяшки у мыловарни, выбеленные солнцем.

Бедные юнцы поникли в предсмертном томлении, словно обессиленные неоперившиеся цыплята, которых едва живыми успели выхватить из воды, куда они ненароком упали. Покорные головы их свесились на грудь, подставляясь разящему лезвию. Мелкая дрожь прошла по их юным телам.

Но последовал резкий, сильный удар кинжалом плашмя по загривку каждого из пленных, и этот удар заставил всех шестерых юнцов испуганно вздрогнуть и поднять головы. Шеи у них вытянулись, словно одеревенели. Такими их и опустили на землю, усадили на корточки, затем, жестоко схватив за уши, повалили ниц и прижали лбом к земле. Над каждой головой встал туркмен и крепко зажал ее коленями. Поднесли длинноносые кумганы и стали поливать водою эти головы. Цепкие железные пальцы зарылись в мокрые волосы, стали натирать виски, драть по затылку. После юнцов снова подняли на колени.

Полумертвые от страха, пленники только поводили из стороны в сторону глазами, ничего не понимая. И лишь завораживал их померкшие души сверкающий в лучах пополуденного солнца стальной клинок, подносимый к голове. Ойбай! Что чувствуют эти юные существа? Им почудилось, наверное, что тот великий небесный окоем, окружавший их в жизни, вдруг сузился, приблизился на расстояние в несколько шагов и потемнел. Но это были туркмены — их толпа с жадным любопытством тесно обступила

казнимых и, напирая со всех сторон, горящими от возбуждения глазами рассматривала шестерых полумертвых казахских юношей.

Вот каменный кулак туркмена-заплечника ткнул в затылок — и голова каждого пленника опустилась еще ниже. Теперь никто из них не осмеливался смотреть по сторонам, они молча, обреченно замерли. Смотрите — и толпа в эту минуту замерла, стихла совсем! Шестеро заплечников стали одновременно править лезвия кинжалов о голенища своих сапог, и вжикающий жуткий звук проник в испуганные детские сердца коленопреклоненных пленников. О, что происходило в тот миг в этих сердцах?

И вот отточенный кинжал прикоснулся к покорно подставленной голове. Но лезвие скользнуло ото лба вверх по мокрым волосам, острый булат стал срезать буйный волос юности, оставляя за собой, на черепе, гладкий, блестящий след начисто выбритой кожи. В тишине слышался только шоркающий брадобрейный треск, и толпа туркменов, затаив дыхание, вслушивалась в эти звуки. Они жадными очами взирали на то, как, гладко круглея, блестя невинной юной кожей, обнажались беспомощные головы пленников. А они не знали, все еще не знали, что собираются с ними сделать! Заплечные цирюльники быстро закончили свое дело и, вытерев лезвия кинжалов о рукав камзола, вложили их в ножны. Обритые наголо пленники замерли на коленях, низко склонившись к земле. Их до синевы вычищенные от волос глад-

кне головы блестели на солнце. Под его налязшими лучами эти беспомощно обнаженные головы казались уже мертвыми. И сами пленники, голодные и измученные, готовы были замертво свалиться на землю.

Но темная толпа туркменов продолжала молча взирать на них, стоя плотной стеною вокруг. И чуть в сторонке несколько человек что-то делали над шкурой убитого верблюжонка. Рукава их халатов тоже были высоко закатаны, в руках сверкали ножи. Едва осмелившись поднять глаза, юнцы с ужасом следили за подошедшими — о, все еще не понимая, что с ними будут делать... И тут тихо, диковато загудела толпа. Надвигалось что-то поистине страшное для пленников. Казалось, даже сама глиняная могила Кекборе, — маленький, затерянный среди полынных кустов холмик, сжался в глиняный комок ужаса.

Наконец они завершили свое дело — шестеро бородачей, работавших над сырой шкурой. Они ножами с треском распоролы эту шкуру на куски. И передали двум старикам, которые бросили их в посудину. Замочив их в чем-то, те начали усердно мять руками сырое шкурье.

Это было все, что осталось от недавно бегавшего веселого верблюжонка: ошметки шкуры в посудине и выброшенное в яму стервье, кишки и брюшина, измазанные черной запекшейся кровью.

Перед пленниками, выступив из толпы, стоит воитель Жонеут, смуглый, жестколицый, с

раздвоенной бородой. Он не ведает страха, не признает жалости, не знает веселой улыбки. Жонеут помнит лишь о том, что под тем глиняным холмиком, на который он лишь глянул ненароком, лежит и спит вечным сном его младший брат Кекборе. И надо за него достойно отомстить.

Отважным воином был Кекборе. Жизнь его прошла в постоянных разбоях и набегах. На своем сивом аргамаке-ахалтекинце он в одиночку пробирался в соседние казахские пределы и угонял чужие табуны, захватывал пленных. Казахи и дали ему прозвище Кекборе, Лютый Волк, хорошо усвоив его волчьи повадки. Со временем и соплеменники стали так называть его, забыв данное муллой имя. Никто больше не помнил, что в детстве звали его Дурды.

Кекборе истинно был матерым волком, знал свою силу и всегда первым бросался на врага, никогда не уходил от опасности, брал боем свою славу и богатую добычу. Прихвостни главаря богатого рода Мамбетпаны, с кем уже несколько лет был не в ладах воитель Жонеут, старались настроить против него отважного и безрассудного младшего брата. При всяком удобном случае нашептывали ему: "Э! Твой старший брат считает себя великим батыром. А куда ему против тебя? Это ведь ты велик, а не он!" От таких слов у самолюбивого Кекборе кровь бросалась в голову. Он завидовал славе брата, его силе и умной отваге. Эта зависть и погнала его в без-

рассудный набег, откуда он уже не вернулся живым.

Некогда казахи, собравшись в единый кулак, выбили туркменов с верховьев Устюрта, изгнали с низовьев Мангыстау, захватили богатые кормами пастбища Карын-Жарык, Ак-Сорка и Удек. И оттеснили туркменов на безводные, бестравные, всем ветрам открытые песчаные плоскогорья.

Неисчислимы стада аула Мамбетпаны негде стало пасти, туркмены были изнурены безводьем и пыльными бурями. Забренчали их дутары унылую, горестную мелодию “Айладыр”, бахши визгливо надрывались, поминая в своих песнях-заклятьях богатые обильными пастбищами Мангыстау.

Мглистыми вечерами, когда спадала жара, и воздух дышал прохладой, исчезали над степью миражи, и смутно обрисовывались на севере острые пики Кара-Дага, туркмены выходили из юрт и усаживались в тени на коврах. За неспешной трапезой, потягивая мелкими глотками горячий чай, до боли в глазах вглядывались они в ту сторону, где оставался обжитый веками край. Каждый молчал, но у всех на душе было одно и то же.

И ведь не только людей, но и скотину, неразумную тварь, неудержимо влекло туда, где раньше ей было хорошо. И как бы туркмены ни стерегли свои табуны, не ведая сна и покоя, однако в грозу и проливной дождь, воспользовавшись непогодой, когда люди укрывались в

домах, лошади целыми косяками уходили в сторону тучных пастбищ, о которых они помнили, — и становились легкой добычей врага. А строптивые верблюды вообще не знали удержу, и стоило голенастым верблюжатам оторваться от маток, как те вслед за огромными нарами галопом устремлялись в знакомые места, где было вдоволь корма, и при этом взрослые верблюды бросали слабых детенышей, убегали от них, не оглядываясь.

Увидевшего это воинственного туркмена в голове под высокой папахой вспыхивала яростная мысль о жестокой мести врагу, темнело в глазах от обиды и гнева. И стоило хоть кому-нибудь из них кликнуть: “По коням, джигиты!” — все остальные вмиг отзывались на клич и немедленно отправлялись в набег. Но эти постоянные частые набеги обескровили народ. Траченые молью папахи, вывешенные во многих юртах в знак траура по погибшему воину, безмолвно рассказывали о потерях и жертвах туркменского племени. О, много достойных храбрецов полегло у безымянных курганов. И заброшенные могилы славных батыров, кое-как похороненных ради бога, навещали лишь псы из ближних казахских аулов, чтобы, задрав ногу, помочиться на земляной бугор.

Обо всем этом знали, помнили туркмены, видели свою беду и унижение. Но охочих до смертельной схватки с врагом становилось все меньше.

И, когда у богатого Мамбетпаны казахские воры снова угоняли скотину, бай приезжал к

воителю Жонеуту и униженно просил: “Помоги! Отбей скот! Отомсти!” На что однажды суровый батыр ответил, не скрывая своего презрения: “У тебя родичей не меньше, чем муравьев в муравейнике. А ты просишь меня. Поднимай своих джигитов, веди их в поход. Или ты хочешь, чтобы другие положили голову за тебя? А ведь каждому его жизнь дорога.” Чтобы не показать своего унижения, важный гость смолчал, как будто и не слышал слова Жонеута. И только яростно сжал в кулаке рукоять тяжелой восьмигранной плети.

Как и следовало ожидать, коварный Мамбетпана прямо от воителя Жонеута отправился к его младшему брату, буйному батыру Кекборе. И напел ему что-то сладкое, льстивое на ухо. И тот, простодушный и самолюбивый, сразу же поддался на лесть и в одиночку отправился перехватывать угнанный скот. Уже бывало не раз, что Кекборе отбивал байский скот в одиночку и пригонял его назад. О, он был славный воин, младший брат Жонеута!

Среди казахов же самым опасным и дерзким разорителем стад Мамбетпаны был джигит адайского племени Дюимкара. Для байских табунов не было от него заслона. В делах разбойных, лихих никто не мог с ним сравниться — ни среди самих адайцев, ни среди туркменов. О нем сказывали в народных преданиях. Одно из них было известно по всей степи — его пересказывали с востргом, весело, с громогласным хохотом.

Он приехал к своей невесте на первую брачную ночь, и в ту же ночь напали на аул барымтачи, угнали много скота. От криков и отчаянных воплей попавших в беду людей Дюимкара проснулся на брачном ложе и вмиг сообразил, что произошло. Он тут же, разомкнув горячие объятия юной жены, в спешке выскочил из юрты и, в чем мать родила, вспрыгнул на коня. А на рассвете, когда только-только завиднелось, он догнал в степи угонщиков-барымтачей. Те увидели в полумраке рассвета, что несется на них верхом на коне некто огромный, лохматый, испускающий грозный рык, — и совершенно нагой, словно сам шайтан или карающий ангел. Потусторонний страх обуял ночных разбойников, не помня себя, они рассеялись по степи, пригнув головы к гривам своих скакунов, бросив богатую добычу.

На возврате, к полудню, наш батыр встретил по дороге к аулу одного табунщика и одолжился у него чапаном. Кое-как укрыв голое тело, пригнал он весь угнанный из аула скот, а во двор тестя завел целехоньким все его стадо. С того дня одно лишь имя его нагоняло на врагов страх и ужас.

Он был могуч, как ярый черный верблюд в пору своей заматерелости. Необъятно широка была его грудь, и она вся поросла густой черной шерстью, как у настоящего каранара, черного верблюда. В сражение он устремлялся на своем громадном коне по пояс нагим, и враг бежал перед чудовищным батыром. Даже туркмен-

ские полудикие аргмаки, увидев издали, сразу узнавали его, в страхе сбивались в тесные табуны и, высоко задрав хвосты, уносились по степи, словно гонимые волчьей стаей.

О, многие из туркменов точили на него зуб. Многим он стал поперек горла. Да и весь род Мамбетпаны во главе с баем таили лютую злобу на дерзкого, бесстрашного адайца, который постоянно тревожил аул своими внезапными набегами. Уж сколько раз бай посылал ватаги джигитов против Дюимкары, да многим из них не суждено было вернуться домой. Уже больше было потеряно туркменами воинов, нежели добыто голов скотины в разбойных нападениях на казахов.

Когда Жонеут был еще безусым мальчишкой, происходило в степи, у могильного камня святого Карамана, известное замирение между обеими сторонами. Казахи и туркмены собрались, чтобы поговорить о тех бессмысленных потерях, которые несли обе стороны. Ведь джигитов погибало больше, чем угонялось скотины во взаимных разбойных набегах. Не усиливались, а слабели соседние племена в кровавой вражде, и придя к пониманию этого, сошлись туркмены и, адайцы к могиле святого Карамана. Всадников собралась великая тьма с обеих сторон, и они, не слезая с лошадей, хмуро и цепко присматривались друг к другу, помня о старых и свежих ранах, нанесенных врагами, которые сейчас решились открыто сойтись не для боя — под ярким светом солнца, а не в разбойной темноте.

И мальчишка Жонеут, ездивший на этот степной сход со своим дедом Огуленом, запомнил на всю жизнь, сколь решительно, заносчиво и непримиримо смотрели в сторону противника батыры казахские и батыры туркменские, как скрещивались их взгляды, словно искрящие клинки сабель.

У туркменов главенствовал бий Жума. Откинувшись в седле, с горделивым видом восседал он на своем длинном сивом аргамаке. Рядом с бием, чуть позади, крутился на вертком, как пиявка, вороном коньке какой-то долговязый худой подросток, который впоследствии станет жирным баем Мамбетпаной, змеиноглазым предводителем большого туркменского рода.

Обеим сторонам хотелось для начала явить свой воинский кураж, напомнить свое бывшее величие и силу, показать врагу, что бой и ярость вовсе их не страшит, и хотя они собрались для примирения, но не просить или унижаться и не клонить головы перед противником, а доказать свою правоту на древнее первородство в этом мире, под мангыстауским солнцем.

Спесивый, громадный бий Жума, не меняя своей горделивой посадки в высоком седле, выехал вперед на серебристом аргамаке и молча протянул вперед камчу, указывая на древний громадный камень с высеченными на нем когда-то старинными письменами, которые, однако, от времени стали совершенно неразличимыми на покрытой трещинами поверхности осколка скалы. Этот камень был принесен сюда в

незапамятные времена и установлен с юго-западной стороны кладбища, священного для всех мусульман. Уверенный жест Жумы должен был означать следующее: “Смотрите вы, пришедшие сюда откуда-то издалека! Кто поставил его, как не наши предки?”

Но мудрецы из рода адаев не растерялись. Навстречу туркменскому бию выехал казахский. Он также молча указал концом плети на старый, почти утонувший в земле до макушки валун. Это был истресканный, ушедший в землю, весь заросший хной древний могильник. И ничего еще не понимающий туркменский бий знаками приказал двум своим приспешникам, молодому и старому, сойти с коней и обозреть указанный могильник. Те подошли к камню, молча, сосредоточенно осмотрели его со всех сторон и затем, повернувшись к своему повелителю, оба застыли, недоуменно растопырив по сторонам руки.

И тогда уже бий адайцев послал жестом к камню своего человека. Тот подошел к древнему могильнику, косо торчавшему из земли, и стал молча соскребать с него наросшую слоями хну. И глазам всадников предстало ясное и четкое изображение древнего тавра адайцев. Камень, намного глубже ушедший в землю, чем обломок туркменской скалы, все еще хранил на себе знак казахского рода Адай.

Двое туркменов, наклонившись к могильному камню, долго изучали его, затем молча оглянулись на Жуму и утвердительно, с пону-

рым видом, кивнули головами. Толпа всадников, окружавшая могильные камни, враз взгудела гортанными голосами, одни ликующими, другие возмущенными, кони испуганно заплясали под ними. Адайцы испускали радостные крики, туркменские всадники зло одергивали лошадей, усмиряя их, и молча крутились на месте, возмущенно покачивая головами.

Бий Жума полагал, что он убедительно и бесповоротно предъявит доказательство того, что этими землями издревле владели туркмены, первыми поставившие памятный камень. Однако вышло наоборот. Более древний камень, почти весь ушедший от времени в землю, хранил на себе знак казахского рода Алшин, который, как известно, обосновался здесь намного раньше, чем пришли сюда туркмены.

И тогда обе стороны, отбросив доказательства седой старины, громогласно стали высказывать свои обиды недавней поры, с козлиным упорством не уступая в споре и обвиняя в жестокости и коварстве друг друга.

Туркмены поносили казахов, упрекая в том, что они не только захватили лучшие пастбища, но постоянно воровски угоняют скот, крадут и насилюют молодых женщин. Мирным аулам нет покоя, джигиты гибнут. Адайцы напоминали о том, что во времена оны, когда напали на их край чуждые по вере дикие джунгары, туркмены не только не встали с ними рядом на защиту единоверцев и соседей, но встретили их мечами и копьями, когда те отступили в их края.

Содеяли зло соседям, надеясь на милость чужедальных захватчиков. С тех пор, мол, и началась непримиримая вражда между адайцами и туркменами.

Степные гортанные глотки джигитов наорались вволю. Но всему есть предел. Высказав все друг другу, люди стали стихать. Дело могло повернуть к желательному перемирию. Мудрые умы с обеих сторон стали велеречиво напоминать о таких вещах, которые могли бы не подливать масла в огонь, но утихомирить сердца джигитов. Зазвучали речи лучших златоустов. Благословенный край Мангыстау столь широк и богат, что хватило бы места многим племенам ходящих за стадами и пасущих косяки быстрых коней. Земля Мангыстау дала вечный приют многим поколениям батыров, славных сыновей разных народов. И чтобы мирно жить сегодня в этом благодатном краю, не нужно ворошить прошлое и злобно выставлять друг другу счеты ради кровавой мести. Прошлое, мол, должно былем зарости. Ведь в беспредельной степи, протянувшейся от Аральска до Каспия, от Устюрта до Копет-Дага, хватит места счастливой жизни и для туркменов, и казахов.

Много было сказано с обеих сторон мудрых и сильных речей. Могучие плечи батыров обмякли, головы задумчиво потупились. И, спешившись, сойдясь в единую толпу, поднялись все казахи и туркмены на священную гору, к пещере общего для обоих народов святого Ка-

рамана, к его древней могиле, покоящейся под высокой отвесной скалой.

Рядом с выросшим у могилы священным деревцем, обвешанным, по древнему обычаю, разноцветными лоскутами тканей, на земле был растянута полосатый аркан, плетенный из конского волоса. Так была *определена черта раздора*, отделившая две враждующие стороны. И первою из них, начавшей произносить заклятие верности и примирения, была сторона адайская. Тут появился откуда-то пятилетний мальчик на вороном коне и на всем скаку перемахнул через полосатый аркан. Однако черный скакун тут же грохнулся оземь, будто подкошенный, а маленького наездника отбросило далеко в сторону. Но он быстро вскочил на ноги и, как ни в чем не бывало, живым-здоровеньким отбежал к своим сородичам. Потрясенные виденным, седобородые старцы с обеих сторон дружно закивали головами, воздели к небу руки и затем провели ими по своим бородам. В один голос высказались они: “Всевышний не одобряет нашей вражды. Запрещает дальнейшее кровопролитие. Он не винит ни казахов, ни туркменов, но осуждает саму бессмысленную вражду, погубившую уже столько единоверцев”. — “Велик Аллах! Аллах прав!” — прогремел всеобщий крик. Кричали все — от мала и до велика.

И там поклялись туркмены и адайцы жить в дружбе и братстве, в мире и взаимном уважении. Да, поклялись они. И был свидетелем этого сам дух святого Карамана.

Но много ли лет прошло с тех пор? Много ли времени пролетело с того памятного дня великого замирения двух племен? Мальчишки, что тогда стерегли лошадей, стали отцами семейств, всего-то успело повзрослеть одно поколение. А что мы видим? Многим ли примирение истинно переменяло душу? Не затаились ли криводушные, которым слова верности явились лишь коварным прикрытием злых замыслов? Все чаще говорилось среди таких, что клятвы, произнесенные на святой горе, уже потеряли, мол, силу. И такие ядовитые речи прежде всего просачивались из богатого рода Мамбетпаны, мальчишкой присутствовавшего на обете перемирия. А мулла из байского рода Дегене-ахун распространял слухи, что казахи добились прощения за свои злодеяния коварным обманом, ложно поклявшись перед священной могилой Карамана, и теперь им не уйти от его праведного гнева. Народ туркменский, мол, не должен прощать адайцам нанесенные ими бесчисленные обиды, унижения. Только кровью своей они смогут искупить свою вину. “Кровь за кровь, око за око!” — взывал мулла. И люди прислушивались к нему, и более других благосклонно внимал этим речам тучный бай Мамбетпана.

И вскоре, вещаю со скорбью, началось все прежнее. Байские приспешники вновь стали набегать в пределы адайцев и угонять их мирно пасущиеся табуны. А вы ведь знаете, что буйные адайцы никогда в долгу не остаются. Джигиты с той и другой стороны вновь схватились

за сошлы, самое верное оружие верхового степняка. И под ударами дубинок затрещали череп джигитов, вновь пролилась кровь на степную землю. Старая злоба всколыхнулась с прежней силой, воровское коварство пустило новые корни. И теперь не бились, сходясь в открытом бою, дружина на дружину, о нет! Теперь батыры переняли волчьи повадки и многочисленной ватагой нападали на одинокого пастуха, старались добить ослабевшего и беззащитного. И не только угоняли косяк лошадей, калечили табунщиков, но и отрубали им головы секирами. Взаимно оскверняли святые могилы предков. Тут уже не стерпели и те, которые твердо стояли за сохранение великого примирения и поначалу не хотели вмешиваться в новую, поистине собачью, недостойную грызню. И они, размахивая секирами, кинулись во всеобщую свалку. Даже такие верные данной клятве батыры, как Жонеут, вынуждены были сесть на боевых коней.

Разумное слово может пригасить вражду, злое слово, наоборот, — раздуть ее безумное пламя. Но, если ссору людскую пронзает копье, то развести злобное противостояние может лишь самое великое слово мудреца. И только мудрецу дано убедить человеческое сердце склониться к миру, а злой глупец способен лишь размахивать палкой да секирой и призывать к убийству. Однако мудрецов рождается на свет мало, а глупцов — много, мудрецы приходят в мир раз в тысячу лет, а глупцы появляются в нем

каждый день. И не известно еще, послушается ли мудрого народ или пойдет за потрясающими оружием дураками.

Ведь куда проще решать дело известным счетом: тебя ударили, бей и ты, тебе грозят смертью, убивай и ты. И проклянут люди умника, призывающего к миру, когда напал враг и кругом звенит булат, и мечи сыплют искры.

К такому решению пришел и Жонеут, вновь сядясь на своего боевого коня. А раз уж он решился и взял в руки оружие, воителя никому не удержать. Вихрем понесется он в бой на своем верном аргамаче.

II

Дюимкара, адайский батыр, тоже не мог оставаться в стороне, когда другие схватились за кинжалы и боевые дубины, соилы. Неистовому казахскому батыру мало показалось только красть и угонять скот и быстроногих туркменских скакунов. В ответ на злодеяния соседей он начал отвечать еще более жестокой мерой. Стал врываться в туркменские аулы и устраивать там неистовые бесчинства, оскорбительные для правоверных мусульман. Его действия и распоряжения были воистину безжалостны и бесчеловечны.

Однажды воителю Жонеуту пришлось на пути знакомый аул, раскинувшийся на пологих склонах протяженного увала. И всех жителей он застал на улице плачущими и воющими

от горя. Женщины рвали на себе волосы, вопили и рыдали в голос. И Жонеут узнал, какая приключилась с людьми беда.

Его повели на край аула, где находился вытоптаный овечий круг. В пыли и навозе лежали и сидели, сжавшись в комочек, десятка два девушек. В изодранных платьях, с расцарапанными лицами, многие из них бились на земле, издавая жалобные стенания.

И Жонеуту рассказали. Жонеут стоял и молча слушал. В его глазах вспыхнул зловещий огонь.

Один раз в году, на празднике курбан-айта, туркмены позволяют себе отвлечься от своих повседневных трудов и забот. Начинается всеобщее веселье. Мужчины в тот день все отправились в аул Мамбетпаны, где должны были состояться конные скачки. Женщины остались одни в ауле и развлекались веселыми играми, песнями, хороводами, устроили большие качели и раскачивались на них.

И словно дикие волки ворвались в аул люди Дюимкары во главе со своим атаманом, коварно воспользовавшись отсутствием мужчин в день веселья и женских игр. Забыв божеские и древние людские установления, джигиты-адайцы на скаку обрезали саблями веревки на качелях, избивали плетками беззащитных женщин. А напоследок они согнали самых красивых девушек и молодок и отвели их на край аула. Там, на вытоптанном овцами кругу, грязно надругались над ними. Вдоволь натешившись,

утолив свою звериную похоть, молодчики из ватаги Дюимкары еще и поглумились над честью и стыдом женским. Они задрали им подолы платьев и связали над головой. Затем пылью и золой из старых кострищ осыпали их беспомощные нагие тела.

Узнав о нападении, туркменские джигиты прискакали в аул, но разбойники Дюимкары были уже далеко. На земле лежали опозоренные дочери, жены, сестры, невесты. Потемнело в глазах у джигитов, не смея поднять головы, стояли они, держа за повод своих коней. Мужчины не решались войти в свои юрты, ужас и страшные догадки сковали им ноги.

И тогда воспрянул, словно очнувшись от глубокого сна, воитель Жонеут. Как должен теперь жить на свете его народ, загнанный врагами на горькие пески? Ведь вся его гордость — это легконогий туркменский аргамак, а вся радость и честь — в чистоте его дочерей. И теперь все это отняли, над всем этим надругались, и как можно смотреть в глаза своим детям? Нет! Всему этому должен быть положен предел.

Повернул своего скакуна на север батыр Жонеут. Хлестнул его камчой и поскакал. И не сразу услышал грохот копыт за своей спиной. Оглянулся и увидел, что мужчины опозоренного аула догоняют его.

И с того дня Жонеут почти не расседлывал коня. Он возглавил походы туркменов, с лютой злобой искавших встречи с ненавистным адайцем Дюимкарой.

Но этот батыр был не из робкого десятка. Он стал действовать еще более дерзко и жестоко.

Прошлым же летом он в одиночку погнался за ватагой туркменов, угнавших его лошадей. Неистовый Дюимкара столь увлекся погоней, что даже не заметил, как доскакал до пределов Кокпакты. Застала ночь, он понял, что забрался слишком далеко, и тогда решил остановиться до утра в одинокой юрте, стоявшей в степи у подножия холма. То оказалось становище одинокого чабана-туркмена. Кому теперь понять, почему этот беспечный Дюимкара вдруг решился заночевать у своего кровного врага. Возможно, адаец надеялся на старинный степной обычай, по которому всякий гость, входящий в дом, является Божьим гостем, и потому священен, и его обидеть нельзя. А может, понадеялся на свою грозную славу и был уверен, что хозяин одинокой юрты не посмеет его тронуть. Известно с древних времен, что богатыри простодушны и беспечны, как дети.

Он и был принят хозяином приветливо, но перед сном, когда гость вышел из юрты освежиться, туркмен залил ножны батыра жидко растопленной смолой. Рассказывают, что жена туркмена испуганно вцепилась в его руки. Мол, что ты делаешь, ведь это все же гость, хоть и злодей, и пес мерзкий. На что туркмен молча, свирепо отбросил жену в сторону. Когда адаец вернулся в юрту и, вольготно раскинувшись, крепко заснул, туркмен послал мальчишку-гонца в аул к Мамбетпане.

Бай же быстро послал своего гонца к Кекборе...

И вот теперь суровый воитель Жонсут стоял и смотрел на могилу брата, сырый глиняный холмик, и на тех, что собрались возле него, что-то делая с кусками шкуры белого верблюжонка. Вот они, перед ним, главари аула Мамбетпаны, и в середине толпы, как всегда, сам жирный бай и мулла Дегене-ахун. Повернув потное, распаренное лицо в сторону муллы, Мамбетпана скучливым взглядом уставился в рот Дегене-ахуна, который теребил, перебирал кончик белой шелковой чалмы и бормотал свою бесконечную молитву. И вокруг этих двоих склонились лохматые бараньи папахи, не то вторя про себя словам молитвы, не то борясь с дремотой. И только один тучный, громоздкий бай Мамбетпана, словно находясь не на молитве, а на обычной прогулке, не преклонил головы, не скрыл своего надменного лица, но выставил вперед все три жирные складки на подбородке и колючим взглядом маленьких глазок уставился куда-то поверх голов окружающих его людей.

Много спеси было в этом бае, но не меньше в нем коварства и лисьей хитрости. С такими сильными и нужными ему людьми, как простодушный батыр Кекборе, Мамбетпана держится ласково и учтиво. Да, он может быть и таким, и тогда хмурые брови его разглаживаются, и жирное брюхо, и все три складки сала на подбородке словно мягко растекаются, разнеженные добродушной лаской, и он готов принять в свои

дружеские объятия дорогого друга. Откуда только берется ловкость движения в огромном теле, сколь гибки и выразительны руки бая, как может он ловко и вкрадчиво выразить нужному собеседнику свое байское благорасположение!

И представляется воителю Жонеуту, как бай говорил льстивым голосом простодушному Кекборе: “Однако, батыр, настал час твоего великого подвига. Ты у нас самый сильный и удачливый, тебе дано прославиться, взяв в плен этого казахского пса Дюимкару! Иди и бери его, он почти в твоих руках, Кекборе. Другого такого удобного случая не будет! Иди, славный воин, и скорее избавь свой народ от этого наглого разбойника, всеобщего нашего обидчика!”

И всем теперь ведомо: коварный Мамбетпана умолчал о сообщении гонца, что ножны сабли адайского батыра были ночью залиты жидкой смолой. Не сказал об этом потому хитроумный бай, что хорошо знал: честный и храбрый Кекборе ни за что не выйдет на поединок при таких неравных условиях. И еще он знал, что без такого преимущества сам безрассудный храбрец Кекборе вряд ли справится с этим грозным шайтаном, могучим адайцем Дюимкарой.

Обо всем этом думал воитель Жонеут, недобрыми глазами глядя на бая и его приспешников.

А в тот раз беззаботный Дюимкара с утра напился чаю и, хорошо выспавшийся, бодрый, отправился далее в погоню, оставив юрту при-

ютившего его туркмена. И поровнявшись со старым мазаром, заметил вдали облако пыли, быстро приближавшееся к нему. Решив, что это погоня, Дюимкара натянул повод, остановил своего вороного с белыми пежинами рослого жеребца и стал ждать. Когда преследователь приблизился и Дюимкара, наконец, как следует рассмотрел его, адаец неспешно слез с коня, взобрался на невысокий бугорок и стал развязывать штаны. На виду у подскакавшего Кекборе дерзкий Дюимкара обнажил голый зад и уселся справлять нужду. Светлосерый аргамак, на котором сидел туркмен, остановился, приплясывая на месте и роняя с губ белую пену, едва не налетев на широкую спину невозмутимо сидевшего на корточках и облегчавшегося на прохладном утреннем ветерке батыра.

— Эй, Дюимкара, это ты! Встань сейчас же, пес!

Однако адаец будто ничего и не слышал. Рукоятью камчи он лениво ковырял землю перед собой. Отковырнул кусочек с зеленой травкой, взял в руку и, чуть привстав, неторопливо поднес утирку к заду. Подчистившись, медленно встал на ноги, подтянул штаны и завязал шнурки на них. И только тут, обернувшись, спросил спокойным голосом, что нужно от него путнику.

Между тем оба жеребца, оказавшиеся рядом, дико косили глаза друг на друга и, взмахивая головами, зло поджимали уши. Дюимкара по-

хлопал руками, стряхивая с них землю, затем отер ладони о штаны. Халат на его груди был распахнут, густая звериная шерсть лезла оттуда наружу.

Всадник на серебристом аргамаке весь затрясся от ярости и негодования. В руке его сверкнула кривая сабля. Дюимкара, однако, спокойно направился к своему коню. Уверенно, без спешки уселся на него. Вид у него был, словно он собирался мирно поделиться со встречным путником табачком.

— А! Казах проклятый! Готовься к поединку!
— взорвался в бешеном гневе Кекборе.

— Ты как хочешь биться со мной, парняга?— спокойно спросил Дюимкара.

— На саблях!— прохрипел туркменский батыр.

— Будь по-твоему,— ответил адаец.

— Сейчас я расколочу твою чугунную башку, казах! — грозил Кекборе.

— Давай, дерись получше, щенок,— последовало от Дюимкары.— Я проучу тебя как следует.

Боевые кони, почувствовав нарастающую силу гнева своих хозяев, вздрогнули и напряглись. Грозно преобразились сами батыры. Глаза их цепко ощупывали друг друга. Шло молчаливое испытание боевого духа. Никто из них не дрогнул. Дюимкара сидел в седле уверенно, вольготно, словно не к бою готовился, а желал, как и прежде, поделиться с противником насыбаем. Не проявил тревоги и волнения и батыр

Кекборе, воин без страха и сомнения. Он могучей рукой сдерживал звереющего аргамак, выбирая миг и направление своего первого неистового удара.

О, бескрайняя пустынная степь, столь чудная в этот утренний час, ты уже не в силах остановить батыров и унять их взаимную жажду убийства. Некому их остановить, вразумить, успокоить. И лишь малая пташка, степной жаворонок, с нежным писком взлетела рядом с батырами. Вспугнутая из гнезда, она вылетела из кустов и, встревоженно щебеча, облетела одного воителя и другого, словно умоляя их помириться.

А совсем недалеко от круживших друг возле друга батыров шло на водопой стадо мирных косуль — вдруг увидели они возбужденных, злых коней и словно окаменевших на них всадников, и ужас объял кротких животных, и понеслись они прочь, высоко подскакивая над землею. Но не до них было этим двоим, они захвачены были только своим ратным неистовством. Только себя они ощущали — эти два человека, готовившиеся к смертному бою. Да, смерть с жадностью ожидала кого-нибудь из них одного, и смерть преобразила лики этих людей. Брови грозно сошлись к переносице, глаза сузились. Скулы обострились и словно закаменели. Могучие желваки набухли и заходили на их челюстях. И в жилах, и в глазах отныне кипела лишь кровь, густая и неистовая, дикая кровь воителей.

Первым круто взмыл на дыбы серебристый аргамак туркмена и прыгнул вперед. Со свистом

рассекла воздух сверкающая сабля. Но черно-белый пегий жеребец казаха отпрянул в сторону, и удар туркмена никого не задел. Тогда Кекборе надвинул потеснее свою поярковую шапку, Кекборе не знал, что значит отступить или хитрить в бою. Он готовился снова к броску. И только тогда Дюимкара взялся за свою саблю. Но что случилось? Обычно он одним рывком выхватывал свой звенящий булат — но теперь клинок не выходил из ножен! Не спуская с противника настороженных глаз, Дюимкара еще и еще раз пытался вынуть оружие, но оно не давалось в руку, намертво приклеенное смолой к ножнам.

О, знаете ли вы, как смерть холодной рукой прикасается к человеку? Как от корней волос и до самых пят пронизывает холодок смерти? Влажная испарина вмиг покрыла широкий, как валун, лоб батыра Дюимкары. В горле стало сухо и как-то полынно горько. На миг, словно от змеиного яда, затмило очи и душу.

Вновь мелькнул над головой Дюимкары сверкающий булат Кекборе. И Дюимкара, — не умом и волей, — неизвестным порывом, мгновенно отстегнул пояс с саблей и поднял его, вместе с ножнами, над своей головой, над прижатыми к черепу ушами бело-пегого вороного. И тут последовал могучий удар Кекборе. Раздался страшный треск и звон, и словно две молнии промелькнули мимо головы Дюимкары. Он успел приопустить свою саблю с ножнами и оглянуться на миг — и заметить, что на земле

валяются две половинки, два обломка от сабли, которую не смог удержать в руке Кекборе!

Оба могучих батыра посмотрели на эти обломки с высоты своих коней, оба заскрежетали зубами. Затем молча двинули своих могучих коней друг на друга. Боевые кони, храпя и скалясь, надвинулись, столкнулись — и со стоном отвернулись в стороны головы. Стукнулись, лязгнули стальные стремяна, батыры схватились в рукопашную. И теперь сабли, боевые камчи — все стало не нужным для них. Все это полетело в разные стороны. Батыры намертво сцепились друг с другом и, упираясь в стремя, каждый старался согнуть, свалить, стянуть противника с коня и сбросить его на землю. И под их тяжестью, под их богатырскими усилиями стонали, задыхались кони, сухие ноги аргамаков невольно подгибались. Казалось, что батыры могут вдавить своих коней в землю. Стоявшие бок о бок, животные испуганно переглянулись. Им стало ясно, что хозяева теперь не пощадят ни их, ни друг друга.

Они сцепились, словно клещи кровососные. От треска раздираемой одежды, от хрипа богатырских глоток, зубовного скрежета и звериного запаха пота бойцов их боевые кони впали в ужас, у них задрожали и ослабели ноги, закружило в голове, им надо было хоть на миг разойтись, отдышаться и придти в себя. Но обезумевшие люди уже не думали о них, забыв обо всем на свете, они продолжали свою смертную возню. И вот зашатались кони, светлосерый арга-

мак туркменский вдруг ощутил невыносимую боль в холке и, дико заржав на всю степь, взвился на дыбы. И в тот же миг почувствовал, что с треском вырвали клочок мяса с гривой из его холки, от боли свет помутнел в глазах аргамака, все тело зашлось крупной дрожью. Он из последних сил отпрянул в сторону — и тут понял, что потерял всадника. Резко и со страшной силой его рванули за поводок, конь оглянулся и увидел, что два человека барахтаются на земле, и одним из них был его хозяин.

Они катались по земле в едином бешеном клубке, и то один, то другой оказывался сверху. Недалеко от них тускло сверкал в пыли обломок сабли, и каждый из бойцов хотел первым дотянуться до него. То одна, то другая могучая рука батыра оказывалась ближе к нему, но тут же оба откатывались в сторону, а обломок сабли с рукоятью оставался лежать на месте, в скудной степной запыленной траве. Борющиеся тела перемещались по земле, а поводок уздечки туркменского аргамака оставался в руке его хозяина, и коня мотало, дергало из стороны в сторону, притянутую книзу, согнутую его шею сводила судорога. И вдруг серый аргамак почувствовал резкий удар по своим нежным ноздрям. Взвившись змеей, конец повода хлестнул по морде коня, и он тотчас же отскочил назад, едва не запрокинувшись на спину. Выправившись, он стоял и смотрел, как погибает хозяин, побежденный своим противником. Громадный, черный верзила с обнаженной грудью, по-

росшей верблюжьей шерстью, сидел верхом на его хозяине и вязал ему руки куском отрезанного повода.

Видно, удалось-таки адайцу дотянуться до обломка вражеского оружия. И это Дюимкара одним махом обрезал конец натянутого повода, зажатый в кулаке туркмена, и теперь этим же куском скручивал ему за спиной руки. Бездвижно лежал на земле побежденный, — видимо, в беспомощности смертельной усталости. Закончив дело, адаец подманил своего коня, отрезал повод и ремнем поводка стал связывать ноги поверженному Кекборе. И тот в это время пришел в себя и огласил степь яростным и жалким воплем. Он звал на помощь своих соратников. Но степь молчала в ответ. Лишь звенел где-то в вышине жаворонок. И в этой тишине невозмутимо и деловито Дюимкара продолжал вязать ноги Кекборе ремнем, изредка смахивая рукавом пот со лба.

Светлосерый аргамак туркмена, выкатив глаз, крутился рядом, желая, но не осмеливаясь приблизиться к хозяину. На нем, выгнув темной горой спину, возвышался Дюимкара. Сутулясь, он оглядывал своими темными глазами пространство видимой степи кругом, словно высматривая что-то ему нужное или опасаясь появления врагов. Но, не обнаружив вокруг, ничего особенного Дюимкара почесал свою мохнатую грудь рукоятью подобранной с земли камчи.

Он заметил несколько камней, торчавших из земли недалеко в сторонке. То были камни над-

гробий давно заброшенного старинного мазара. И, встрепенувшись от пришедшей в голову мысли, Дюимкара тяжело поднялся с земли, прихватил обломок сабли и направился к старому кладбищу.

Камни надгробия покрылись почерневшей гнилью. Рядом с ними зиял глубокий провал от разрушившейся могилы. На дне ямы видны были чьи-то бранные кости и валялся желтый череп. Может быть, давным давно могилу разрыли шакалы. И Дюимкара долго простоял на краю ямы, задумчиво потупившись, почесывая лохматое свое тело рукоятью камчи. Потом решительно направился к лежавшему на земле, связанному по рукам и ногам Кекборе. Тот, увидев приближающегося врага, заревел на всю степь. Адаец лишь буркнул что-то презрительное и, ухватив его за шиворот, волоком потащил в сторону камней, словно тяжелый куль. Лишь пыль поднялась на пути бесславного последнего исхода туркменского батыра.

Возле ямы Дюимкара выпустил пленника, оставив его лежать на земле, и немного передохнул. Затем нагнулся, ухватил его и одним рывком, словно маленького ребенка, поднял громоздкого батыра высоко над головой. Чуть покачнувшись, швырнул в могильный провал. Из ямы вырвался густой клуб мертвой пыли. Дюимкара отскочил на шаг назад. И тут из глубины старой могилы донеслись глухие вопли. Казалось, это кричит уже не человек, а вопит мертвец с того света. Подскакавший близко свет-

лосерый аргмак, услышав этот крик, громко заржал и начал, словно обезумевший, носиться широкими кругами вокруг могилы.

Дюимкара, весь обсыпанный белесой могильной пылью, стал яростно отаптывать края ямы, заваливая ее кусками отваливавшейся глины. Затем принялся сбрасывать туда камни, с чудовищной силой выворачивая их из земли. И вскоре посмертные вопли мертвеца прекратились. Последний слабый выкрик вырвался из-под земли — и все затихло. Тогда серебристый аргмак в ответ заржал дико и тоскливо, на дыбах развернулся, скакнул вперед, поддал воздух задними копытами и помчался в ту сторону, где находился аул его хозяина.

Когда светлосерый прискакал в аул без хозяина, со съехавшим на брюхо седлом, люди, давно дожидавшиеся батыра Кекборе, сразу поняли, что с ним случилось самое страшное. Туркмены сели на коней и отправились на поиски тела погибшего. И лишь на следующий день ватага всадников во главе с Жонеутом набрела на старую могилу, полузаваленную свежей глиной. Над небрежно зарытой могилой густым черным роем вились жирные мясные мухи. Туркмены слезли с коней и заглянули в яму. То, что увидели они, заставило застыть в ужасе их суровые воинские сердца. На дне ямы валялся труп Кекборе. На груди его лежал большой камень. Тело было едва засыпано глиной. По лицу ползали мухи.

Рядом с могилой был брошен на землю обломок сабли Кекборе. И те из туркменов, что знали, как были залиты смолой ножны сабли Дюимкары, сразу догадались, что свирепый адаен даже не убил своего противника оружием, не зарезал его, а одолел в рукопашной борьбе и связанного, живьем сбросил в могилу.

И тогда, стоя у могилы, поклялся воитель Жонеут, старший брат погибшего, что отныне он будет беспощадно мстить, страшно мстить, до последнего дыхания своего мстить — и самому Дюимкаре, и всему его роду, и всем его потомкам.

Таковы были события совсем недавнего времени. И вот теперь на тризне у могилы Кекборе собрались туркмены, зарезали белого годовалого верблюжонка...

И стоял неподвижный, словно окаменевший, воитель Жонеут, глядя на глиняный холмик, под которым покоился его брат.

Он повернулся туда, где шестеро туркменов в лохматых папахах, держа в руках куски сырой шкуры белого верблюжонка, приблизились сквозь толпу к шестерым казахским пленникам. Пожилые бородатые туркмены, с засученными рукавами, стали напротив наголо обритых юноцов, и каждый туркмен, ухватив за уши, заставил опуститься на корточки стоявшего напротив него пленника. Затем приняли из рук джигитов-помощников по клочку шкуры и нашлепули на их бритые головы. Шкурка была еще теплой, влажной, мягкой и сразу же прилипла

к нагретым солнцем черепам юнцов. Еще ничего не понимая, пленники поводили испуганными детскими глазами из стороны в сторону. А шестеро пожилых туркменов с засученными рукавами, между тем, умело водя пальцами, тщательно выравнивали, подтыкали края шкурок, словно накрывая голые черепа круглыми шапочками. Затем выхватили сыромятные ремешки и стали ими туго приматывать шапочки по краям шкурок к голове. Стянули крепко, словно обручами. И оттого в голове у каждого пленника вскоре вскипел гул, в висках застучало, и стало нестерпимо больно.

После всех этих непонятных для казахских пленников действий их снова посадили на неоседланных безгорбых дромадеров, толпа кинулась по коням, и вся длинная процессия направилась обратно к аулу. И снова пыль вилась из-под копыт верблюдов и лошадей, нестерпимо палило солнце. Едкий пот заливал глаза пленников, но они даже не могли утереть его, потому как руки их были закованы в кандалы. Солнце стояло в самом зените, страданиям мучеников, выставленных на дикую казнь, не было предела. А толпа, безжалостная толпа степняков, наблюдавшая эти муки, жалась поближе к казнимым, всадники подъезжали один за другим и с любопытством вглядывались в искаженные лица страдальцев. А этим путь до аула представлялся адской бесконечной дорогой на другой край света. Выгоревшее ровное плоскогорье тонуло в бреду болезненного марева, в котором то

там, то сям возникали чудовищной величины темные горы. Но в приближении они оказывались всего лишь редкими купами колючих кустарников.

Изогнутые, стертые, как ремни, шеи дромадеров покрылись блестящим потом, стекавшим по редкой шерсти, палящая жара становилась нестерпимой даже для верблюдов. А в голове казнимого под солнцем человека нарастала ни с чем не сравнимая для живого существа боль. Сырая верблюжья шкурка, стягивавшая бритый череп пленника, начинала сжиматься, давить на его мозг, и слышал он, казалось, как трещит сама кость, и хрустит горячий иссушенный мозг. Отчаянно вскрикнул один из казахских юнцов и, теряя остатки разума, стал биться головой о спину сидевшего перед ним другого мученика. Все шестеро пленников, о Боже, постепенно теряли от страданий облик человеческий, Тобою данный облик. Лица их безобразно исказились, из глаз и ноздрей текла соленая влага, которую они не могли вытереть из-за сковавших руки железных кандалов, лязг которых не умолкал, ибо тела их непрестанно вздрагивали и бились в конвульсиях нескончаемой агонии. И видя все это, — о, человеческая древняя жестокость! — степные всадники ликующе джигитовали вокруг каравана казнимых, гортанно выкрикивая: “О, аруахи! Мы отомстили!” — и затем уносились во весь опор в сторону аула, поднимая за собою пыль. И наконец возле тощих безгорбых верблюдов

остались лишь двое бородатых туркменов, сопровождавших этот скорбный караван нечеловеческих воплей, скрежета зубовного, дикого хохота и безумия — уже наступавшего безумия в скорбных головах людей, обреченных до самой своей смерти быть манкуртами.

Еще целую неделю в ауле слышны были их вой и крики. Затем все шестеро умолкли. Видимо, волосы, угнетенные сухой верблюжьей шкурой, начали расти внутрь черепа и там проникли в мозг юнцов, убив в нем всякую память и суть человеческого разума. Манкурты — так их стали называть — отныне забыли, кто они, откуда, и в привычках жизни своей сравнялись с животными. Дара речи все шестеро лишились. Пищей их стала дикая степная трава. Целыми днями они паслись за аулом вместе с верблюдами, а вечером со стадом возвращались в аул и размещались на ночь вместе с животными. О, Аллах! И такое, бывало, люди делали с себе подобными.

Двоих из манкуртов Жонеут отослал к адайцам, дабы узнали те, как могут мстить туркмены своим врагам. Четверо же остались при ауле и продолжали вести свое сумеречное существование, бродя по степи вместе со скотиной да собирая сухой кизяк. Это они еще могли делать.

И вот по прошествии времени эти четверо появились, как маленькие темные точки, возле остроконечного дозорного кургана, на котором, словно вбитый в землю кол, торчал караульный,

озирующий враждебные дали. И он не обратил на них никакого внимания, ибо это были уже не враги, а их вялые, расслабленные призраки.

Они пришли в аул и из мешков ссыпали возле очага в кучу принесенный с собой кизяк.

III

Тот страшный для казахов набег на аул рода Дюимкары, когда были захвачены юные пленницы и пленники, был последним из походов воителя Жонеута.

А теперь он впервые задумался над тем, что в его роду Ер-Оглан, известном многими великими батырами, уже не оставалось заметных воителей, способных всести за собой походные дружины. Одни погибли, новых не народилось. Самому Жонеуту уже давно не приходилось с копьем или саблей в руке доказывать свою воинскую мощь в поединках. Года идут, время берет свое. Пора было задуматься о том, кто же более молодой и могучий станет рядом с ним, а потом и будет способен водить туркменов в походы и защищать свой народ от врагов. И эти думы не давали Жонеуту покоя. Пределы своих сил, которых раньше не ощущал, теперь он предвосхищал в глубине своего усталого сердца. Сейчас он не мог бы сказать себе, что сможет совершить и чего не может. И теперь он знал, что осталась лишь громкая слава о его беспредельном могуществе и силе — слава осталась, а годы жизни ушли.

Был у него старший сын Клыч, могучий и кряжистый, как саксаул, которому не было равных во владении воинским оружием. Всех превосходил он и в сабельном бою, и в копейном, стрелы его были самыми меткими и разительными, шашку в руке держал он крепко. Однако слишком молодым был он допущен, юный и безоглядный, в суровые ратные дела, и рано сложил свою горячую головушку в бою. Теперь покоится он за аулом на семейном кладбище.

Был средний сын, Алпан, задиристый и бесстрашный, отважный до безрассудства, которого побаивались все его сверстники. Едва поднявшись на ноги, он стал уже размахивать кулаками и колотоить всякого, кто ему не понравится, будь то соседский мальчишка или приبلудный пес. А когда подрос и получил своего первого коня, не раз гонял на нем по степи какого-нибудь недруга и беспощадно сек его своей детской камчой. Вырос невероятно дерзким и неуступчивым джигитом, вспыхивал и пламенел гневом в одно мгновение, а когда слышал где-нибудь шум ссоры и потасовки, немедленно устремлялся туда, не думая устраниться. Вот он-то всей душою любил своего громогласного и горячего дядьку Кекборе, и тот всячески потакал ему и приблизил к себе. И в одном дальнем походе, который возглавил дядька, Алпан нашел где-то в чужедальнем краю свою безвестную могилу. А может, не был даже похоронен, и зверье да хищные птицы растащили его косточки. И следа от него не осталось на земле.

Самый же младший сын Жонеута, последний и баловник, в походы не рвался, да и сам отец его туда не посылал. Вырос Даулет статным и плечистым джигитом, с красивыми бархатными глазами. Улыбчивый и мягкий, уступчивый, он, несмотря на то, что выглядел могучим — про таких говорят, что на каждое плечо возьмет по джигиту и посадит их туда сам — Даулет имел добрую душу и кроткий нрав. Однако на праздниках с состязаниями в борьбе он швырял на землю всех подряд, и не было ему равных среди силачей. Все это он делал с улыбкой, без злости. Большеглазый, с ясным светлым лбом, с белым лицом, что большая редкость среди смуглых туркмен, Даулет легко вспыхивал ярким румянцем вдохновения и радости. Лучистые глаза его приветливо светились. Его все любили. Густобровый, статный, высокий, могучий, он вовсе не выглядел грозным, и даже свирепые псы аула, туркменские овчарки и охотничьи волкодавы, при виде Даулета виляли хвостами, сами подходили к нему, ластились и ложились к его ногам.

Среди девушек и молодых Даулет пользовался большим успехом, сам тоже был с ними ласков и вовсе не избегал их. Его отец не раз слышал об этом, но помалкивал, ничего не говорил сыну, пока однажды не узнал, что парень стал похаживать к одной молодой вдове, муж которой погиб в недавнем походе. Тут Жонеут призвал Даулета и строго по-отцовски его отчитал. Это был единственный раз, когда отец про-

явил неудовольствие поведением своего младшего сына. А на все остальное суровый Жонеут, казалось, не обращал никакого внимания.

Такое отношение к сыну возмущало прямодушного вояку Кекборе, он весь бурлил и шумел, как кипящая в котле вода, когда при нем заходила речь про Даулета. И хотя дядька не слыл за большого умника, а всем родственникам это было хорошо известно, никто не смел ему перечить. Сам же Кекборе, держась поближе к муллам да богачам, считал, что они уважают его за ум и сообразительность. Он не скрывал своего презрения к племяннику, считал его пустым малым и при всякой встрече ругал его и искал ссоры с ним. И особенно злило Кекборе, кипящего как вода, что племянник оставался при всем этом спокойным и безмятежным. Его большие красивые глаза были все так же улыбочивы, он лишь слегка краснел, и эти женственные глаза и румянец на щеках еще больше злили вояку Кекборе. Сам же он никогда не мог ответить ни на одно меткое слово или едкое замечание племянника, лишь громовито ревел, как верблюд, да исходил бранью.

Особенно возмущало его то, что Даулет, вместо того, чтобы стремиться к воинской славе или удачному воровству у врагов-соседей их коней и скота, — что этот здоровенный малый приистрастился к игре на дутаре. А это, считал Кекборе, порочило само имя и звание мужчины.

Только самые никчемные, трусливые да изнеженные любят тренькать на дутаре, вместо того, чтобы, как истинный воин, учиться владеть копьем да клинком. Если человек к этому не способен, говорил Кекборе, пусть тогда берет посох в руки и идет в степь пасти скотину.

А Даулет с детства крутился возле дутаристов и песнопевцев-бахши. К пятнадцати годам сам научился играть на дутаре столь хорошо, что вскоре прославился среди музыкантов степи. Он стал искусным мастером-дутаристом. Ведь слышали вы, что всем известный Яхия, прославленный дутарист из Татауза, был просто зачарован, услышав игру юного Даулета.

Сам же воитель Жонеут, занятый в походах, порою много дней не покидавший седла, также всю жизнь избегал всяких празднеств и шумного веселья, считая все это уделом баб да молодых. И ему никогда не приходилось видеть, как его сын выступает перед толпою. На виду у отца Даулет никогда не осмеливался играть на дутаре. И во всем их роду единственным поклонником его музыкального дарования был старина Анадурды. Жонеут знал об увлечении сына, но в душе не одобрял его, считая это легкомысленной склонностью к утехам и веселью.

И случилось так, вы помните, что несколько лет назад, когда еще сохранялось перемирие, Анадурды отправился к казахам на состязание дутаристов и взял с собой Даулета. И там юный музыкант очаровал слушателей своим искусст-

вом и, соревнуясь с лучшими дутаристами Мангыстау, победил всех и разделил первый приз с одним казахом-кюйши. Тогда у Анадурды от гордости, как говорится, на голове словно выросла еще одна папаха. Вернувшись домой, он всем рассказывал о великой славе юного Даулета, и многие радовались вместе с ним, даже сам суровый Жонеут, казалось, молчаливо гордился сыном. Но что стало с дядькой Кекборе! Он взбеленился от злости, немедленно прискакал к старшему брату и, войдя в его дом, даже отказался пройти на почетное место и присел на войлоки у самого входа. С ходу он принялся ругать и костерить племянника, который, де, уронил честь своего рода, отправившись на праздник к своим исконным врагам, на собрание жалких крикунов и дутаристов. Какой позор, какое унижение!

— Твой сын дутарист! Дутарист! Понимаешь ли ты это?— кипел он и возмущался.— Бахши эти, песельники, да бренчащие на дутаре — чего ждать от них путного? Враги боятся только воина на коне, в лохматой папахе, с копьём в руке. А эти бахши? Кюйши? Дутаристы? Да на них смотрят как на юродивых, и никто их не боится. Исстари каждый мужчина из рода Ероглан наводил страху на адайцев, от него они бросались наутек. А этот что? О, позорище одно! Ну, скажи, брат, честно скажи мне — ну, хоть один захудалый казах испугался его и бросился от него бежать? А ведь вон какой вымахал верзила! Краснобай он у тебя, пустомеля, в его

душу вселился шайтан или джин, который ослабил его, сделал из воина бабу! Забыв про воинскую честь, про все обиды нашего рода, предав свое боевое оружие, он целый месяц гостил у адайцев, веселился вместе с врагами, словно с братьями, рожденными от одной матери! Какой позор, какое бесчестье! Даже баба длиннополая так не унизилась бы. А этого Даулета, глянуть на него, вроде как гордость распирает, что побывал в гостях у адайцев! Словно из похода удачного вернулся с богатой добычей. А этот Анадурды, придурок пустоголовый! От радости по ляжкам себя прихлопывает! Послушать только его: “Когда наш Даулетжан играл на дутаре, даже враги наши извечные, эти казахи, прищелкивали языками от восхищения!” Нашел чем хвастаться, придурок! Чем гордиться! Сидел бы лучше над козьей шкурой да гадал бы на ягодках джиды! Да по мне лучше какой-нибудь туркменский батыр отправился бы туда, а не эти бездельники, и навел там шороху, тогда вряд ли казахи покачивали головами да прищелкивали языками! Эти все кюйши, бахши, дутаристы! Да разве они мужчины? Да они хуже баб, готовых разомлеть под ласковым взглядом джигита, хуже этих сук блудливых. Копье и сабля — вот чем надо крепить славу своего народа, а не вытьем бахши и треньканьем на дутаре...

Вот вчера встретил племянника дядька и отчитал его, а он в ответ, усмехнувшись: “Ну чего вы, дядя, расшумелись? Чего бушуете, как вода, кипящая в котле? Ну, набросились бы вы

на адайцев, убили пяток джигитов, распугали табун лошадей. И что с этого? Да разве чести бы вашей убыло, дядя, если эти пять джигитов остались живыми, а табун пасся бы себе на джайляу?”

— Представляете, до каких речей докатился твой сын! — бушевал Кекборе перед братом. — Я ему о памяти народной, о славных подвигах предков начал было говорить, а он в ответ только хохочет! “Не тревожь ты, дядя, предков, — говорит. — Они и без твоих напоминаний в обиде не остались. И сами погибли, и других поубивали немало.” Только подумать, что сказал непутевый! Мол, дай предкам хоть теперь покою. А? Как тебе это нравится?

Жонеут спокойно выслушал брата, а потом послал за сыном. Тот где-то веселился на тое. Кекборе не стал дожидаться и ушел. Провожая его, Жонеут сказал оскорбленному до глубины души брату: “Ну чего ты хочешь от него? Мальчишка ведь еще. Постарше станет, образумится.”

Стрелой вылетел из юрты Кекборе. И отныне больше не бывал в доме старшего брата. Видно, смертельно обиделся на него. Не такой ответ на свои слова он хотел услышать от Жонеута.

А Даулет продолжал жить прежней беспечной жизнью. И до самой гибели Кекборе воитель Жонеут ни в чем не мешал своему последнему оставшемуся в живых сыну.

Но вот после тризны на могиле брата, когда гости съели жертвенного верблюжонка и разье-

хались по домам, Жонеут призвал к себе Даулета. Всех удалил из юрты хозяин и остался на ночь с сыном наедине. Сквозь раскрытое решето стены видно было черное летнее небо, которое изредка прочеркивали следы падающих звезд. Со всех сторон, из всех щелей юрты, раздавался неугомонный стрекот сверчков.

А где-то на краю аула в заброшенной глинобитной хибаре томились и выли от невыносимой боли шестеро казнимых пленных казахов. Их крики разносились в ночи беспрерывно и неумолчно. Порой кто-нибудь из них принимался рычать и визжать по-звериному, иногда казалось, что даже слышен чей-то страшный зубовой скрежет. Звенели, бряцали ручные кандалы, которыми кто-то из них бил себя по голове, жестко обтянутой подсохшей верблюжьей шкурой.

И, внимая этим страшным звукам, никто не мог уснуть в ауле. В юртах не было слышно шумного дыхания и храпа спящих. Кони на привязи испуганно прядали ушами, вытягивая шеи в сторону воющей и заливающейся тонким плачем черной ночи. Даже верблюды не валялись в золе, как обычно, а стояли на своих изломанных длинных ногах, вздымаясь темными громадами тел, и, высоко подняв головы, на миг переставали яростно перетирать во рту свою неизменную жвачку.

Молчал в темноте юрты Даулет. Молчал и Жонеут. Сын лег на кошме, отвернувшись к стенке, поджав ноги, весь скорчившись. Отец в

темноте внимательно следил за тем, как поведет себя дальше Даулет.

На длинном увале, где располагался аул, было прохладно. Место это продувало холодным ветерком, тянувшимся с гор. Вскоре Жонеуту стало зябко, он вздрогнул несколько раз. В ауле не раздавалось ни звука, и только жуткие вопли со стороны старой лачуги нарушали ночную тишину. Да страшно лязгали цепи кандалов, которыми несчастные били себя по голове, обезумев от боли. Должно быть, они катаются по глиняному полу, бросаются на стены, и каждый безумствует сам по себе, уже никого не видя вокруг. Жонеут поставил у лачуги нескольких вооруженных караульчиков, изредка раздавались их гортанные голоса, пытавшиеся как-то утихомирить вопящих и стонущих пленников. А те, о Аллах, уже ничему и никому не внемлют, и молчаливый, притихший аул не спит, весь превратившись в тревожный, чуткий слух.

Жонеут приподнялся на локте, взгляделся в сторону лежавшего тихо сына. И вдруг заметил, что у него вздрагивают плечи. Это что же такое? Неужели плачет? Гневное возмущение подбросило с постели отца. На могиле дяди ни одной слезинки не обронил, а только стоял нахмурившись, с бледным лицом. А тут, гляди-ка, явно страдает от жалости к каким-то шести слюнявым ублюдкам. Неужели ему их жаль больше, чем бесстрашного дядю, чья ужасная смерть вызвала к самой страшной мести? Видимо, не зря возмущался Кекборе: музыка и проклятый ду-

тар, веселые пирушки да песенки вытравили из сердца сына боевой дух и понятие чести воина, настоящего мужчины. Он забыл о священной мести и чувстве долга перед славными предками. Если не можешь ты отплатить кровью за кровь, то нечего было и тратить на тебя поярковую шкуру для боевой папахи. Лучше было бы заранее оскопить тебя, причислив к трусливым бабам! А теперь лежи, рыдай от жалости и слушай, слушай вой этих сучьих выродков.

Воитель Жонеут вновь откинулся на подушки, натянул на себя и тщательно подоткнул со всех сторон стеганое одеяло. Ночь была холодна для него. Поговорить с сыном он так и не решился.

Наутро Даулет поднялся раньше и ушел куда-то. К чаю Жонеут повелел призвать сына. Тот немедленно явился, и вид у него был смущенный. Лицо осунулось, побледнело, под глазами легли синие тени. Он молча налил из бокастого полосатого кумгана чай отцу и себе, но сам к своей кесушке даже не притронулся. Жонеут прихлебывал чай и тяжело, из-под насупленных кустистых бровей, вглядывался в лицо сына. Все, о чем молчал сын, прочитал отец на этом лице. И опять не смог сказать ему ни слова.

Через несколько дней Жонеут собрался на охоту и впервые пригласил в степь сына. Выехали они вдвоем, при них были только две поджарые матерые гончие. Воитель искал уединения с сыном. Несмотря на всю брань и презрение покойного Кекборе к Даулету, отец вдруг

почувствовал, что перед ним упрямый, сильный и непокорный человек — и это несмотря на всю его кажущуюся мягкость нрава и миролюбие. А в дерзости его речей и силе ума сам Жонеут не раз убеждался, слушая его словесные перепалки с самыми ярыми краснобаями. В словесных поединках нет ему равного. Любого одолеет. Может высмеять всякого. Однако не этого ожидал воитель Жонеут от своего могучего с виду сына.

Теперь, когда слава и боевая мощь рода заметно ослабли, не хватало еще и того, чтобы враги узнали, как не ладят между собой Даулет с Жонеутом — внук и сын великого воина Ерогулана. И поползет по всей степи слух, что отец потерял власть над своим последышем, и станут все осуждать сына и смеяться над его отцом. Тогда и потеряет воитель Жонеут силу влияния на свой народ.

Вот и хотелось отцу наедине поговорить со своим наследником. Узнать всю правду об этом непонятном человеке, каким оказался для него Даулет, родной сын, — с виду такой могучий джигит. Поговорить с ним с глазу на глаз. Вразумить его, наконец.

Кони легкой рысцей, дружно, нога в ногу, шли рядом; два матерых гончака рыскали впереди, расходясь и сходясь по степи, и если одному из них что-нибудь причуялось, он мгновенно останавливался, вскидывал уши, брал ветерок ноздрями, замирая в стойке. Но, ничего особенного не учуяв, пес возвращался на путь всад-

ников. Ближе к полудню недалеко пробежал табунок косуль, и гончаки, вмиг взъярившись, бросились в погоню, оглашая степную тишину гулким лаем. Псы дружно, стремительными махами гнали зверей и вскоре исчезли с виду у горизонта, однако всадники почему-то не поскакали в преследование. И удивленные тем, что не слышат позади себя звуков улюлюкания и дробного топота копыт, гончаки вскоре оставили гон. Обессиленные и сбитые с толку, псы улеглись под жидкими кустами джиды, вывалили языки и, часто дыша, полуприкрыв глаза, стали ждать охотников. Те вскоре подъехали все той же неторопливой рысью, и тогда псы побежали рядом, стараясь держаться в тени всадников.

А этих сегодня вовсе не интересовала охота. Оба всадника упорно молчали, лица их были сумрачны. Жонеут неподвижным взглядом устремился вдаль, туда, где дрожала зыбкая дымка марева. Он прямо и твердо сидел в высоком седле, словно врос в него, и лишь вздрагивала на его голове лохматая баранья шапка в скок рысящего коня да правая рука сама собою, по привычке, слегка взмахивала короткой камчой, подстегивая лошадь по крупу. Даулет изредка оглядывался на отца, но затем, опустив голову, погружался в какие-то свои невеселые думы. А прекрасные их узкогрудые, с длинной шеей, стройные аргмаки шли дружной рысью, по-прежнему рядышком, стремя в стремя.

И вскоре, уже в пополуденное время, всадники миновали отлогие увалы, покрытые реденькой, почерневшей от зноя, чахлой полынью и съехали на глиняную пустошь, покрытую спекшейся, твердой красноватой коркой, местами обсыпанной белыми песками. Тут спереди потянуло живительной волнующей прохладой, и Жонеут погнал коня прямо в ту сторону. Вскоре по правую руку мелькнула большая крутосклонная песчаная дюна, потом на западе смутно обозначился высокий курган. Поскакали еще дальше — и до всадников донеслись плеск воды и шуршание волн. За косогором, накоротке преградившим путь, внезапно, уже очень близко, показалось море, светло-голубоватое, как снятое молоко. Оно уходило в невидимую безбрежность, растворяясь в светоносном небе, сливаясь там, вдали, в томительные зыбкие миражи, столь беспокоящие взоры и души преодолевающих пустыню, изнуренных зноем путников.

У берегов море вспучивалось крутыми волнами, вскипало белой пеной и падало на земную твердь с могучим, мерным шумом. Растекаясь по сырому дну, водяная пленка покрывала темную полосу и доходила до гладкого ослепительно-белого побережья, где залегали зыбучие пески. Откатываясь назад, вода обнажала шипучее песчаное дно, неохотно вновь возвращая его земле. Надо всем побережьем широко веял прохладный вольный бриз, и далекие волны в море покачивались, догоняя друг друга, словно степные ковыли под ветром.

Жонеут направил коня к небольшому полуострову, острым клином уходившему далеко в море. Каменистая гряда упиралась в начало этого полуострова, и у ее вершины располагалась древняя могила с каменным надгробием. Возвышался высокий столб темного, почти черного, камня, такие надгробия ставили обычно над могилами святого. Время и морские ветра выгладили и вычернили поверхность камня. Перед мазаром всадники спешили и повели своих коней в поводу.

В землю врос большой плоский валун, чуть вдавленный сверху. Это был жертвенный камень, на котором паломники разводили огонь для священного всежжения. Узкий же клин обелиска был обвешан трепыхавшими на ветру обесцвеченными под солнцем тряпками. То были памятные приношения молившихся на этом святом месте. Валялись обглоданные кости, барьяны черепа и рога архаров, сброшенные в кучу, — следы паломников, случайных охотников и путников, останавливавшихся здесь.

Опустившись на колени, Жонеут начал шепотом читать молитву. Рядом стал на молитву и Даулет, держа ладони перед лицом. Отец воздел руки к небу, затем провел ладонями по лицу, сверху вниз, и завершил обряд, разглаживая свою раздвоенную черно-белую бороду. Пошептав еще что-то невнятное, воитель Жонеут легко, молодо поднялся на ноги. Вслед за ним завершил молитву и Даулет. Старый воин сорвал, не разглядывая, все тряпки, привязанные

к обелиску, и засунул себе за пазуху. Суэта мирская не должна тревожить покой святого. Затем оба, отец и сын, вернулись к своим лошадям, отвязали и отошли прочь, ведя их за собою. Когда они, с конями в поводу, взошли на вершину каменной гряды, порывом морского ветра вмиг спутало гривы лошадям, полы чапанов захлопали на ногах мужчин.

Старый Жонеут так еще и не сказал ни слова своему сыну. Он с умыслом привел Даулета к древней могиле Темирбабы. Мы знаем предания о мудрости и духовной силе этого святого отшельника. В старину, в достопамятные времена великих чудодеев, шел из Хорезма премудрый Шопан-ата и встретил он здесь, на этом месте, Темирбабу. Море тогда подступало вплоть до этой каменной гряды. Отшельник сидел на камне и прохлаждал ноги в воде. И, хотя он еще за тридевять земель услышал, как некий человек идет в его сторону, — вот и приблизился наконец и остановился за его спиной, — Темирбаба даже не шелохнулся, не обернулся к путнику. И тогда подошедший учтиво поздоровался первым, кланяясь ветхому отшельнику. Но и тут святой никак не отозвался. И вынужден был Шопан-ата представиться, назвать свое знаменитое на всю степь имя. Но Темирбаба продолжал молча созерцать морские дали. Чудотворец Шопан-ата, чтобы стало ясно, кто же это явился к отшельнику, молвил: “Ты действительно велик, наверное, потому и столь горд. Однако посостязаемся.” Тут только Темирбаба обернулся к нему.

“Что ж, начинай ты первым”, — коротко молвил старик. “Добро,— ответил Шопан-ата. — Тогда смотри туда. Видишь, там ходят горные козлы?”— “Как же не видеть. Вижу.”

Шопан-ата, сказывают, стал бормотать себе в бороду, тихо и зазывно: “Шоре-шоре-шоре!”

И крупный козел, истинный царь среди каракуйруков, круторогий и бородатый, вдруг встрепенулся и прислушался. Затем бегом кинулся с крутосклона и подбежал к людям. Зверь с тихим бляньем бросился в ноги Шопан-аты и улегся на земле, стал лизать полу его халата. Тогда чудотворец, не имевший в руке и ножа, мигом зарезал козла, ободрал его, как положено, вспорол ему брюхо и выпустил внутренности, затем разъял тушу на куски, умело и расторопно. Все это совершив, Шопан-ата весело глянул на ветхого отшельника, а затем, ничем не затрудняясь, снова быстро составил тушу в единое, уложил назад внутренности, натянул шкуру на козла, погладил его по меху, дунул-плюнул — и козел вновь стал как прежний, вскочил с места и побегал к своему стаду.

И теперь, стало быть, настал черед волшебства Темирбабы. Он преспокойно поднялся с камня, закатал штаны на ногах до колен и зашлепал по воде, направляясь в глубину моря. Но, сколько бы ни шел вперед, воды все было ему по колено — а вокруг него бурлили волны, ухал по дну морской вал, и только узкий клин земли тянулся следом за утлым отшельником, образуя новый, невиданный доселе, еще мокрый полу-

остров. И в страхе закричал Шопан-ата, сорвав с головы белую чалму и размахивая ею: “ Стой! Вернись! Ты более могуч! Ради Аллаха остановись!”

Только тогда Темирбаба, отошедший уже довольно далеко от берега, с некоторым любопытством остановился на месте и обернулся. И услышал:

— Боюсь, что ты проложишь путь к другому краю моря, и тогда по короткой дороге враги ползут к нам! Остановись, иди назад! Я убедился в твоём великом могуществе!

И этот узкий, как лезвие кинжала, полуостров остался на память о той встрече двух великих чудотворцев. Говорят, Темирбаба велел похоронить себя у самого начала полуострова, на вершине каменной гряды. “Смотрите, правоверные, — сказал он перед смертью, — если вы не хотите, чтобы подлые враги наши мочились на мою могилу, не допускайте их к морю.”

И что можно сказать? Велика степь, необъятны ее просторы, но сквозь нее может проникнуть любое чуждое племя. Самая жестокая, безводная степь не сможет защитить тех, у кого ослабло копье. И того гляди — потомки святого уже скоро не сумеют отстоять чести могилы Темирбабы. Груб камень, уложенный в основу его мавзолея, но и его источили время, ветры и соленый ветер с моря. Высок обелиск, но и он наполовину уже врос в землю, сделался тонким и весь почернел. Однако и до сих пор его сородичи стремятся сюда, чтобы укрепиться сердцем у

святых камней, покрытых ржавой хной, где витает дух великого отшельника. Тот, кто живет и помнит о мужестве своем, не раз вернется сюда, чтобы припасть лицом к древним камням, что прикрывают прах святого.

Уже давно покинувший землю, дед Жонеута, батыр Огулан, неизменно приезжал сюда и в горести, и в радости. И Жонеута он не раз брал с собой. У старого батыра загорались глаза, когда он смотрел в родные дали, открывавшиеся с высоты вершины, откуда святой Темирбаба зорко охранял эти бескрайние просторы. Не было бы этой святой охраны — расплылись бы племена кочевников, быстроскачущих на своих выносливых аргамаках или трясущихся на спинах горбатых дромадеров, разбрелись бы по неисчислимым сухим долинам, изрезанным полной водой с гор, уже к лету обнаженным до белых песков. Разметали бы кочевые племена пыльные бури по степи, исчезли бы следы кочевников в песках пустыни. И старый батыр Огулан говорил внуку: если не было бы этой древней могилы, не стало бы постоянного напоминания об их чести, о славе предков, о мужестве и стойкости.

А порою он возводил в достоинство самую суровость и неприглядность родного края. “Нет у нас другой воды, кроме соленого синего моря. Нет у нас тучных трав, кроме чахлых колючек. С одной стороны — каменные горы, с другой — пески. Но таков наш край, и нет у нас другого. И не посмей никто никогда пренебрежительно

подумать о нем! Эти пески да эти острокаменные горы — наши щит и самая надежная охрана! Будь у нас райские уголки с зелеными садами да с пышными полями, благодать да богатства Ирана — куда бы нам было деваться от врагов, которые жадно поперли бы к нам, размахивая копьями!”

Так иногда размышлял вслух богатырь Огулан. Однако ни сухие пески, ни мертвые камни гор не спасали его соплеменников от набегов. Врагов соблазняли степной скот, аргамаки-ахалтекинцы да слухи о сокровищах, накопленных в сундуках жителей пустынь. Но насытившись мясом награбленного скота, утолив свой голод, враг думает уже о захвате и закреплении за собой бескрайних просторов, дающих корм столь многочисленному скоту, а затем похотливо жаждет стройных туркменских красавиц, желая поиметь их в своих постелях.

Так неужели этот простодушный народ, определяющий погоду по брюху коня и предчувствующий беду по вою собак, не знает про то, что однажды может подкрасться подлый вражина с арканом в руке и, захлестнув петлю на шею народа, бросить его к своим ногам? Знает, конечно, и живет в затаенном страхе.

Об этом думал теперь Жонеут, стоя на высоком берегу и глядя в сторону моря. Сильный, нетерпеливый ветер трепал полы его чапана, откидывал в стороны концы его раздвоенной полуседой бороды. Море бесновалось влади, вскипая белой пеной, словно слало ему

невнятные угрозы. Воитель Жонеут повернулся наконец к сыну и, не тая больше своих чувств, посмотрел на него. И в глазах Даулета, светившихся от глубокого сдержанного волнения, отец прочел ответы на все те вопросы, которые он не задавал вслух. Даулет понял, зачем старый отец привел его на это место. И сын покорно, почтительно склонил голову перед ним. Тогда воитель Жонеут, с ликованием на своем суровом лице, схватил за руку юношу и вновь подвел его к гробнице Темирбабы.

И вновь, не сказав ни единого слова, оба пали на колени и тихо помолились. После чего молодой Даулет схватил горсть земли и осыпал ею могилу святого. Оба подошли к высокому обелиску, и Даулет припал к нему губами, и почувствовал на них соль моря, и вдохнул его запах, донесенный ветрами веков, смешанный с ароматом древней земли, с теплом нагретого солнцем камня.

Все также не сказав ни слова, путники спустились вниз с вершины, от мазара святого, ведя лошадей за собой. И внизу, уже вскинувшись в седло, Жонеут впервые за последние дни прямо, испытующе, глубоко заглянул в глаза сыну. Даулет своих глаз не отвел, покой, ясность и сила были в его ответном взгляде.

И паломники вернулись в аул.

Так, без объяснений и лишних слов, был передан завет сыну. В сердце воителя Жонеута воцарились покой и удовлетворение. Даулет оказался достоин своих великих предков, не обма-

нул надежд своего отца. Он был доволен тем, что сын его оказался человеком с великим сердцем, в котором жили древние святыни рода. Жонеут распорядился отогнать в табун гнедого скакуна Даулета, на котором он обычно разъезжал по гостям да по обыденным степным делам, разыскивая косяки лошадей.

Воитель приказал вынести и поставить у всех на виду высокое новое боевое седло. По древним обычаям рода, в поход на врага молодому воину следовало выезжать на сером с пежинами коне. И табунщики пригнали из степи такого серо-пегого жеребца-пятилетку, у которого была одна заметная особенность: в его серебристого цвета хвосте заметно выделялась широкая черная прядь. Жеребца поставили в стойло, и стали его готовить под седло.

Собрались аксакалы со всего аула, начали осматривать и давать оценку статям жеребца. Нашли, что конь очень хорош, боевит и силен, в особенности отметили аспидно-черную прядь в хвосте, которая, по старинным приметам, являлась знаком доброго предрасположения небес, едва ли не божественной метой. И аксакалы единогласно дали благословение коню.

В поход жеребца оседлал сам Жонеут. Боевое седло было совершенно новым, вырезанным из выдержанной липы, с высокой лукой, удобно приспособленной для упора тупого конца пикки при нападении. Даулет появился, привесив к поясу длинную кривую саблю, за плечом его торчало фитильное ружье. Стремительно он вско-

чил на лошадь, которая нетерпеливо заходила под ним. Все джигиты, окружавшие его, враз гортанно воскликнули, пожелав ему удачи. А женщины, пользуясь тем, что остались дома одни, без мужчин, так и прильнули к входным завесам, ко всем щелям в юртах, чтобы полюбоваться на широкоплечего, статного джигита-красавца. И даже старухи, пригорюнившись, слезящимися глазами смотрели издали на него из-под руки, вспоминая своих давно сгинувших в чужих краях сыновей и мужей. А некоторые девушки и молодки-вдовицы даже всплакнули впопых, им было, наверное, о чем печалиться.

Провожая сына в первый его поход во главе небольшого отряда, Жонеут заметно волновался, что было заметно по той, несвойственной ему суетливости, с которой он разглаживал-теребил жилистыми пальцами свою раздвоенную пегую бороду. Были в его душе тревожные сомнения. Даулет хорош в сабельном бою, да и кинжал он держит в руке крепко, а из ружья стреляет как самый меткий охотник. Однако в копейном бою, когда надо нестись во весь опор на врага, выставив на него тяжелую пику, Даулет забывает упереть в седло древко, а держит его между ушей коня, норовя вонзить копьё в противника и вышибить его из седла. Однако это получится, если противник попадетсЯ слабый, легонький — но если тяжелый и могучий?.. И при копейной атаке Даулет старается нестись лоб в лоб, а не наезжать на врага сбоку. Но это было не самое страшное. Знал Жонеут за сыном, что избегает

тот поединка, боя один на один. Не то теряется, не то робеет — или... чего хуже! — жалеет человека. И сколько бы ни пытался отец учить сына правильному бою, когда надо вонзять копье на полном скаку, а то отскакивать в сторону, или когда идти тараном на противника, имея целью сбросить его силой удара на землю — ничего путного с выучкой сына не получалось. И ведь дело не в том, что он не понимал, нет — просто не было у Даулета прилежания и рвения к ратному делу, не привлекала его воинская доблесть, как других, рано погибших сыновей воителя. Порою впадал Даулет в какую-то глубокую задумчивость, весь уходил в себя, словно стараясь вспомнить о чем-то давно потерянном, дорогом и забытом... А ведь после гибели отважного Кекборе должен был понимать, что именно он, Даулет, последний сын постаревшего Жонеута, становится главной опорой и надеждой рода, и ему придется взвалить на свои плечи нелегкое бремя военного предводителя...

Как-то совсем недавно, возвращаясь из соседнего аула и подъезжая к своей юрте, Жонеут услышал доносившиеся из нее звуки дутара. Обычно в его доме люди редко собирались для веселья, робели перед суровым воителем. А сейчас едва ли не все, кто оставался в ауле, устроились на земле, в тени позади юрты, и набились в нее. И даже варившие в котлах овечий сыр женщины не помешивали его деревянными черпаками, — задумчиво потупившись, они стояли у костров и слушали музыку. Жонеут принос-

тановил коня и тоже прислушался. Мелодия была печальной, пронзающей душу до самой глубины, в ней была какая-то неизбывная тоска и могучая скорбь. Жонеута передернуло, словно от холода, он застыл неподвижно, низко уронив голову на грудь. Такого он никогда не испытывал, от мгновенной печали, словно от ужаса, у него даже зашевелились волосы на голове. Когда он вошел в юрту, Даулет, увидев его, сразу прервал игру, вскочил с места, повесил дутар на стену и провел отца на почетное место. Ничего ему тогда не сказал Жонеут.

А через три дня Даулет ушел в первый свой поход, возглавив набег на адайский аул Дюимкары. Младший, теперь единственный, сын Жонеута уходил навстречу неизвестной опасности, и воитель сам проводил, в сопровождении нескольких аксакалов, ватагу смельчаков через пять-шесть горных перевалов.

Настала минута прощания. Коротко благословив сына на подвиг, воитель Жонеут развернул коня и поскакал назад. Через некоторое время он оглянулся и еще успел увидеть удалявшийся отряд. Ехавшие тесной дружиной, всадники выглядели как одно тело, и пики над их головами покачивались, поднимаясь к синему небу подвижным частоколом. Старый воитель тронул коня и поехал дальше, но, спустя еще немного времени, вновь не выдержал, приостановился и посмотрел назад. Но ватаги всадников уже не увидел. Они скрылись за сплошными зарослями дальних кустов гармалы, дрожавшими

в струях прозрачного марева. О, степь, ты уже поглотила горстку храбрецов! Когда же в третий раз обернулся назад Жонеут, остановившись на вершине перевала, то увидел лишь пустой беспощадный горизонт, голубой простор неба, оплавленный снизу жаром степи, дрожащий в бреду марева и своих пустых миражей.

И впервые смутное предчувствие закралось в душу старого воителя. Он пожалел, что сам не пошел в набег вместе с сыном — в его первый боевой поход. Вернувшись домой, Жонеут крепко затужил и, обратившись к аксакалам, своим старым боевым друзьям, попросил их пока не уезжать в свои аулы, а побыть рядом с ним, вместе подождать, когда возвратятся джигиты из набега.

С того дня и лишился сна старый воитель. Он постоянно ждал возвращения сына. Поставил караульного на курганную вышку, чтобы тот еще издали увидел возвращение отряда — а не только для того, чтобы предупредить враждебное нашествие. И с восхода до зари торчал на вершине дозорный, словно вбитый в землю кол. А за ним следили сквозь решетку юрты прищуренные дальнзоркие старые глаза Жонеута.

Но со стороны кургана никто не появлялся. И в томительной удушающей жаре полудня лишь однажды прошли четверо манкуртов, жертвы прошлогодней мести воителя Жонеута за бесславную и страшную гибель младшего брата Кекборе.

И вот настал тот день. С утра он запомнился странным белым оскалом предрассвета, словно зевок колоссального зверя, улегшегося на черной стенке горизонта. Но прошли утренние часы, настал полдень, и небо над пустыней обрело свою исконную, вымытую до блеска голубизну. На вершине острого кургана уже давно маячил бдительный сторожевой.

Жонеут отвел от него утомленные глаза, тяжелым взглядом обвел сидевших рядом людей. И люди невольно отводили свои глаза. Аксакалы потупились, каждый из них словно бы ушел в самого себя. Уже много дней никаких известий не было от снаряженных в набег воинов. Ждать их возвращения становилось все тяжелее. Но вдруг сухой, жилистый туркмен, внимательно смотревший из-под откинутой кошмы сквозь деревянную решетку остова наружу, обозревая пустую степь, внезапно встрепенулся и прислушался, повернувшись к западной стороне. Все остальные вначале уставились на него, затем дружно повернули головы в ту же сторону. И слышали, как издалека, — звуча вначале слабо и невнятно, затем все громче и отчетливее, — приближается чей-то хриплый крик.

Жонеута обдало ледяным холодом ужаса, когда он услышал этот вопль. Слабость прошла в ноги, он сделал несколько напрасных попыток, чтобы встать, и не смог. Ему помогли. Все бросились на улицу. Жонеут последним покинул юрту.

Что это за пыль клубится там в степи? Но не со стороны караульного кургана. Нет, это не

дозорный скачет, оглашая воздух радостным криком: “Сюинши! Сюинши!”— по обычаю, первому, кто принесет в аул весть о победном возвращении воинов из похода, полагался подарок, сюинши. Первым же, кто мог увидеть победное войско на пути к дому, был караульный с кургана. Но те, что теперь несутся верхом, поднимая пыль до неба, скачут совсем не с той стороны... Нет, они не выкрикивают слова “сюинши”. Это небольшая ватага всадников... И не видно среди них серо-пегого жеребца... Впереди несется одинокий всадник, и на кончике его пики что-то белеет. Белый лоскут? Знак беды?..

И вот они рядом. Копыта коней подняли густую пыль, сквозь которую тускло просвечивает высокое полуденное солнце. Пыль становится плотнее, и прямо из этого пыльного облака, казалось, неслись страшные вопли горя и ужаса:

— О-о! Баурым! О-о! Горе!

Заунывный напев скорбного плача поплыл над степью. Всадники, крутившиеся на взмыленных лошадях, раскачивались в седлах, то откидываясь назад, то припадая к гривам. Казалось, что горестные головы джигитов на вдруг ослабевших шеях не в силах вынести тяжести огромных, белых поярковых шапок.

Горестный крик, плач и стенания скорбящей орды нарастают. Что это все значит? Жонгут застыл на месте, словно окаменел, глаза его все видят, уши слышат, но что это все значит?

Аксакалы, которые спокойно стояли недавно вокруг него, вдруг все как один начали бить себя по груди кнутовищами плеток. Толпа людей вокруг словно вмиг обезумела, и Жонеут яростно, гневно и брезгливо смотрел на их метания, не внимал их воплям. Мужчины принялись сжатыми кулаками колотить себя по вискам, женщины тонко, визгливо кричали, дергались и содрогались под своей черной паранджой, как пойманные в сеть большие рыбыны. Чего они кричат, почему беснуются, ногтями расцарапывают себе лица, оставляя на них кровавые борозды? Вдруг повернулись все в одну сторону и гурьбой двинулись к юрте его жены. Зачем?

Вот и старый Анадурды, от всех в стороне, стоит и рыдает, дергая себя за бороду. Лошади на привязи беспокойно быют землю копытами и тоже как будто плачут, издавая тонкое, визгливое ржание, грызут жерди коновязи. Собаки — те тоже возбужденно повизгивают, крутятся среди людей, поджав хвосты, отскакивают в сторону из-под их ног. Вдруг они рассыпаются во все стороны и дружно уносятся из аула в степь. Верблюжата, привязанные к кольям, приревывают и топчутся, кружатся на месте.

И только одни манкурты, — хуже животных, — тупые, грязные, слюнявые, равнодушно проходят мимо, тащат свои мешки на горбах к куче кизяка и там, сбросив наземь ношу, бессмысленными глазами озираются вокруг себя.

Из белесого облака пыли один за другим выскакивают всадники, на скаку спрыгивают с коней, и каждый из них, подбегая к какому-нибудь согбенному старцу, бросается перед ним на колени и обхватывает его, и утыкается лицом в утлое тело. И старик жадными трясущимися руками обнимает голову джигита, прижимая к себе. И догадка наконец пришла к Жонеуту, и померк белый свет в его глазах. Он понял, наконец, отчего эти люди вокруг раскачиваются, обнимая друг друга, рыдают на плече один у другого, вопят и стонут, громко причитают. Сдвинув густые, огромные брови, Жонеут тяжелым взглядом смотрел на всех, затравленно озираясь. А люди, не боясь его отчужденного, грозного вида, вдруг кинулись к нему со всех сторон и стали один за другим обнимать его, виснуть на шее. Вот седой аксакал подскочил, за ним другой ... Затем все — без разбора, не щадя его, стали падать ему на грудь, обнимать его, заливать слезами. А он уже еле удерживался на ногах.

И вдруг, поверх чьих-то трясущихся от рыданий плеч, Жонеут увидел привязанного к столбику одиноко стоявшего серо-пегого жеребца, у которого хвост был обрезан по самую репицу. Человек пять джигитов проташили к его юрте что-то, видимо, тяжелое, длинное, завернутое в кошму. За ними тянулась в пыли толпа. Туда же и его повели, подхватив под руки, два седобородых аксакала. Он высвободился от них у своего шатра, люди расступились перед ним, и Жонеут шагнул в свою юрту.

Там, на середине, и лежало это длинное, обернутое в запыленную белую кошму. Люди, толпившиеся вокруг этого, начали сгибаться перед ним в поклоне и затем с рыданиями торопливо покидать дом. А снаружи потоком текли в дом другие люди, плача, взывая на ходу: “О, баурым! О, сынок...” — и тоже рыдали, глядя на него и на то, белесое и длинное. Войлок кошмы был густо облеплен пылью, забрызган комками высушенной грязи.

Вдруг ворвался в юрту Мамбетпана, за ним вбежал Дегене-ахун. Бай, едва переступив порог дома, завопил и зарыдал в голос, забил себя в грудь, стал обнимать Жонеута. Мулла встал на колени перед этим — длинным, завернутым в пыльную кошму, и принялся что-то бормотать тихим шепотом. Он поднял голову и молча посмотрел на стоявших в юрте, и все сразу же начали друг за другом покидать дом. И в юрте остались одни седобородые старики. Дегене-ахун приблизился к Жонеуту, встал напротив его правого плеча и снова что-то забормотал, зашептал, шевеля ртом под реденькими усами. Жонеут с недоумением, близко разглядывал его шевелившиеся губы, длинные, желтые зубы, а сам не вымолвил ни слова.

Мулла что-то говорил, Жонеут не отвечал, и Дегене-ахун, так и не дождавшись ответа, обернулся к старому Анадурды и подозвал его к себе. Тот подошел, всхлипывая, как ребенок, с мокрою от слез бородой, слушал муллу и, не в силах отвечать, лишь согласно кивал головою.

Несколько человек вдруг стали тесным кругом вокруг того, что лежало посреди юрты. Жонеута снова ухватили под руки и потащили куда-то. Он послушно дал себя увести. И вскоре оказался в доме Анадурды, сидел на почетном месте рядом с хозяином.

Он не представлял, сколько времени пробыл там. В тяжелом молчании. Как во сне. Вдруг вошел в юрту какой-то аксакал, припустился рядом с хозяином и что-то зашептал ему на ухо, покачивая седой бородкой в сторону, одновременно указывая туда же рукою. С западной стороны в щелку дома прорвался оранжевый лучик вечернего солнца. И тогда все присутствовавшие встали, а Жонеута снова подхватили под руки и повели... На улице возле юрты стоял и ждал Дегене-ахун. Он тоже показывал рукой в сторону закатного солнца и что-то говорил. Несколько джигитов кинулись в сторону юрты Жонеута, и затем вытащили на улицу то, что было туго завернуто уже в черную кошму. Двое крепких джигитов подхватили это на плечи и едва ли не бегом понесли из аула в сторону темневшего кладбищенского холма. И опять какие-то старики повлекли Жонеута под руки, и он зашагал послушно, бесчувственно...

Длинная толпа быстро направлялась к холму. Густая пыль поднялась над дорогой. Задыхаясь и обливаясь потом, аксакалы, сопровождавшие Жонеута, изо всех сил старались не отставать от спешивших людей. Двое джигитов время от времени бегом опережали толпу, догоняли тех, что несли на плечах тугой сверток чер-

ной кошмы, и перехватывали на свои плечи, сменяя носильщиков.

По указу муллы с десяток мужчин кинулись бегом, ломясь сквозь кусты, на возвышенное место. Выхватив шашки, принялись сечь кустарник, только засвистали в тишине вечернего воздуха стальные клинки. Затем на очищенном месте мигом вырыли яму. Возле нее навалили большую кучу сухого хвороста. Чуть в стороне положили на землю сверток черного войлока и стали его разворачивать. И что-то длинное, белеющее в сумерках, оказалось лежащим рядом с ямой. Все присутствующие бросились на колени и начали молитву. Один из джигитов вынул огниво и кресалом начал высекать огонь. Трут задымился, вскоре раздули пламя в куче хвороста, разгорелся костер. Люди стояли на коленях. И в безветренной сумеречной тишине раздавался только заунывный, отрешенный голос муллы, произносившего слова молитвы, да потрескивал горящий хворост.

Что это все значит? Душа воителя Жонеута находилась в тяжком оцепенении. Кружится, словно в кошмарном сне, мир перед глазами. И он наконец встряхнул головой, широко раскрыл глаза, стараясь очнуться. Но кошмарное видение не проходило. И опять его подхватывают под руки, тащат, тащат куда-то. Опять толпа куда-то несется в лихорадочной спешке. Да что с ними случилось? Или грозный враг у порога? Тогда почему туркмены не на конях, с оружием в руках, а бегают, суетятся пешими? Где же ваши

боевые кони, туркмены? И предводитель их, батыр Жонеут, сын великого Огулана, — почему сам Жонеут тащится пешком, влекомый куда-то двумя дряхлыми стариками? Уж не сплоховали батыр, не дал ли восторжествовать коварному врагу? Где его родной аул, что с ним? Где дети, жены? Где родной сын Даулет, последняя его надежда и опора? Или он тоже сплоховал и смешался с этой позорно бегущей от врагов толпой? Сынок, Даулетжан, почему ты не рядом со своим отцом в этот час?

V

Пришла золотисто-бурая, в палевых разводах, а кое-где и в ярких оборках листвы деревьев и кустов, осень полупустыни. За все лето дождей так и не выпадало. Даже стойкие, цепкие к жизни колючки давно сгорели под нещадным солнцем. Выгорела, спеклась и начала трухляво осыпаться кошма на юртах, всюду запахло паленой шерстью. Тягучая, бесчувственно тусклая жизнь едва теплилась в ауле. Днем живой души не было видно на улице, все затаивались по домам, и только далеко пополуудни, когда зной и сушь немного отпускали, люди начинали вылезать из юрт. Женщины, по велению своих мужей, принимались расстилать в тени своих жилищ ковры, устраивать постели. Выходили и укладывались отдохнуть на прохладе мужчины. Вскоре, ближе к вечеру, они окликали своих малышей и посылали кого-нибудь из них в

дом, чтобы тот вынес отцовскую папаху. Известное дело, что туркмен ходит в домашности, натянув на бритую макушку круглую тюбетейку, а на люди появляется в неизменной лохматой поярковой папахе. Ее он надевает поверх тюбетейки. Нахлобучит туркмен папаху на голову, усядется на низком солнце, в приближении часа вечерней молитвы, и zalюбуется своей длинной тенью, темнеющей на земле.

С папахой у туркменского джигита много забот и возни. Налюбовавшись своей причудливой большеголовой тенью, он снимает с себя свою огромную шапку и принимается любовно поглаживать ее и выискивать в мехе, внимательно просматривая его, не завелась ли там моль или другая какая-нибудь нечисть. Около каждой юрты обязательно торчит в земле кол, на который и набрасывается папаха, после чего хозяин начинает выбивать ее гибким прутиком. Да настолько усердно и неистово, что глаза у него загораются азартным огнем. После такой порки, словно утратив все силы, джигит вновь поглаживает, расчесывает пятерней мех на папахе. И оставляет ее проветриваться на колу. На закате он отправляет мальчишку за конями, и когда их пригонят, хозяин ловит свою лошадь и начинает ее седлать. Горяч и неуемен скакун, стройный, узкогрудый ахалтекинец-аргамак, так и балует, крутится на месте, приплясывает на своих стройных ногах. Непросто его оседлать. И вот когда конь готов, джигит направляется к колу, на котором висит его папаха. Но и тут он

не сразу надевает ее, а вначале приказывает мальчишке принести воды в кесушке, осторожно sprыскивает изо рта мех на шапке, потом взденет ее на большой палец руки и крутанет не раз. Лишь после всего этого он бережно, тщательно устраивает папаху на своей голове.

Вот он ловко взлетает в седло, едва коснувшись стремени, аргамак под ним хочет тут же пулей устремиться вперед, но хозяин сдерживает коня и, кружась на месте, горделиво посматривает вокруг из-под своей огромной, лохматой шапки. И уже потом с места вскачь, бешеным галопом, пускается в степь. А вот вслед за ним и из других дворов вылетают верховые, и все они скачут в разные концы, по им одним известным делам. Пыль прямой дорожкой вытягивается вслед за каждым, и представляется, что от высокого угора, на котором расположен аул, во все стороны тянутся нити пушистой серой пряжи.

Да, засушливое нынче выдалось лето, корма вблизи аула вскоре не стало, и верблюды уходят за ним так далеко, что их теряют из виду даже ходящие за ними манкурты, в чьих головах, сдавленных колодой каменно-твердой высохшей кожи, уже нет никакого человеческого соображения. Отставшие от взрослых верблюдов, верблюжата жалобно ревут и мечутся по всей степи, зовут матерей.

И вот солнце садится, сразу же наступают густые предночные сумерки. В небе сменяется светило, выходит луна. Ночь будто отступает.

залитая молочным лунным светом, и теперь можно увидеть, что вблизи аула мгла наполнена большим движением. Тут и стада возвращающихся верблюдов, колыхающих высокими горбами, и косяки лошадей. Слышны рев и визгливое ржание гонимого скота, гортанные крики хозяев. И вот на дороге обозначается облако пыли, в которой промелькивают громады верблюжьих тел или всадник на вороном аргамаке, мокрые бока и круп которого вдруг сверкнул синеватым гляncем. Кажется, что со всех сторон на аул надвигаются полчища каких-то призрачных ночных существ.

Вот и прошел день жизни в ауле, скоро все уgomонится и затихнет. И только на самом краю в убогой лачуге с дырявой крышей томится, мечется одинокий пленник, закованный в ножные и ручные кандалы. Уже сорок дней и ночей он в заточении, никто к нему не заглядывает, не нарушает его томительного одиночества, и было у него достаточно времени, чтобы сквозь дыры в стене лачуги понаблюдать за жизнью аула. Пленника охраняли вначале двое караульных, потом один. Сегодня, вот, опять двоих приставили. Пленник знал, что в ауле траур по убитым в последнем набеге воинам.

У себя, в казахском ауле, он всегда наблюдал, что в траурный день одни приезжали, другие уезжали, и на дню поднимался плач по нескольку раз. А здесь целыми днями стоит мрачная, зловещая тишина. Плач звучал только в первый день, когда поспешно хоронили Дауде-

та. По здешним обычаям убитого надо предать земле в первый же день, как только доставят тело домой. И надо это сделать до захода солнца. Если же не успевают, то при свете костров — и обязательно до полуночи. Оставить же тело до утра — большой грех. И на кладбище, и с кладбища туркмены спешили чуть ли не бегом. Полагалась ночная тризна, всех хоронивших обносили блюдами с вареным мясом. Но в ту ночь похорон, было похоже, никто не притронулся к траурному угощению, и все быстро разъехались еще до утра. Мясо досталось собакам. С того дня аул и погрузился в зловещую тишину, словно в долгий мрачный сон.

И прошло сорок дней. Рядом с большой темной юртой появился на привязи серо-пегий жеребец, у которого хвост был обкорнан по самую репицу. Его пускали в табун, чтобы отъелся до этого дня. Теперь привели назад. К нему подходили туркмены, о чем-то толковали между собой, покачивая огромными папахами. Затем отвязали его, потащили в поводу.

— Куда повели куцехвостого?— спросил пленник у одного из караульных.

— Резать будут. Сегодня сороковины Даулета.

— Вон оно что...

Знать, недаром с утра было столько приезжих в обычно безлюдном ауле. И у большой темной юрты, где никто за прошедшие дни не появлялся, сегодня было привязано много лошадей под седлами. Самого хозяина юрты плен-

ник не видел ни разу за все сорок дней. Было похоже, что воитель не покидал своего дома. Приезжие, в основном седобородые аксакалы, недолго засиживались в доме Жонеута. Зайдя в юрту, вскоре выходили из нее и поспешно отвязывали своих коней.

По ночам, когда аул погружался в сон, томимые скукой караульщики вступали в разговор с пленником и о многом ему рассказывали. Так пленник узнал, что за все сорок дней Жонеут ни с кем не заговаривал. А поначалу он даже как-будто не понимал, что сын погиб и уже похоронен, войско вернулось разбитым. — приказал оставить дозорного на кургане еще на неделю. Самые почтенные старцы из разных туркменских родов приезжали и пытались утешить его и вразумить. Но Жонеут по-прежнему молчал и сидел на своем месте, словно окаменевший. Только теребил всю побелевшую бороду. А вчера зашли к нему старики во главе с Анадурды и напомнили, что наступают сороковины по смерти Даулета.

Так пленник узнал, сколько дней точно он находится под стражей в темнице. Значит, ровно сорок два дня назад он отправился на охоту за архарами, и вскоре попал в плен. Охота всегда отвлекала его от шумной суеты праздников и застолий, в которых ему всегда приходилось участвовать. Пленник был знаменитым думбристом, кюйши, и его искусство явилось причиной того, что он постоянно пребывал на людях. Однако с детства он любил одиночество, уедине-

ние и неторопливые размышления о жизни. Большая же слава мешала жить, как хотелось. его постоянно втягивали на богатые праздники и во всякие музыкальные состязания, на которых не было ему равных. И все же кюйши больше нравилось уединение, нежели шумная жизнь на виду у всех.

Не мог он переносить многое из того, что видел вокруг себя. Жить аульным миром всегда беспокойно, и причиной тут не только близкое присутствие враждебных племен, не только постоянная угроза вражеского нападения. В самом же ауле, где вдруг затевается шумный той по какой-нибудь радостной причине и где на другой же день поднимается плач и вой по очередному горестному поводу, любителю тишины нет покоя. Ведь там что бывает обычно? Если двое сопливых сорванцов подерутся, не поделив игральных косточек, то вот уже их отцы с налитыми кровью глазами набрасываются с кинжалами друг на друга. Бьются-то за сущую ерунду — и с каким видом, о Аллах! С безумными, перекошенными, искаженными злобой лицами, с налитыми кровью глазами, с зубовным скрежетом. Уже позабыта сама причина, из-за которой эти двое вступили в бесславный поединок. Изрезанные, исколотые, с зияющими ранами в теле, оба падут на землю — оба пойдут в землю, где им самое место. Там оба и сгниют.

В степи, на местах битв и поединков сколько валяется костей, перемешанных со ржавыми обломками копий и кинжалов, с кон-

ским навозом, с шакальим дерьмом! И все это со временем превратится в единое брение земное, название которому — прах. Где один батыр, где другой? Кто из них принял славную смерть, а кто постыдную? Их бесстрашные, пылкие сердца — где они? Пожрали их черви и муравьи на склоне какого-нибудь безымянного кургана. Останутся у каждого их маленькие сыновья-сироты, и что же? Будут расти, мужать, исполненные лютой ненависти друг к другу — еще ни разу даже не встретившись на этом свете. Разве они не постараются всю жизнь мстить за гибель своих славных родителей? И, едва только отрастив усы, пойдут с приятелями своих сгинувших родителей в набег, чтобы мстить за смерть своих, уже давно сгнивших в земле предков.

То же самое и у врагов, у вражьих детей, которые быстро подрастут и тоже пойдут дорогой мести — все по той же древней проторенной дороге. И так будут жить люди на земле поколение за поколением. Из века в век. На землю потоками льется человеческая кровь. Но земле ведь все равно. Пусть сколько хочешь льется кровь этих людишек. Земля все впитает, всех примет — и дутых-раздутых от спеси и гордости, и худых, бедных, угрюмых горемык, всем хватит места под нею. Людишки могут считать свои победы, однако земли, их вечного прибежища, им не победить. Она терпеливо дождетсся срока и возьмет свое. Тем, кому тесно жить на земле, всегда найдется место под землей.

И отчего им нейдет? Суетятся, возятся, тревожат великих предков, зывают к их именам. Иной бедолага копошится, не может даже себя и семью прокормить трудом праведным, а все суется туда же, о каком-то священном долге перед духами предков лопочет. Проявляя великое рвение исполнить долг перед мертвецами, сам вскоре оказывается мертвым. Неужели им на самом деле столь уж тесно на этом свете? Неужели так и не успокоятся, пока не перебьют друг друга? В самое благодатное время года, когда в степи и на горах все радуется, ликует, источает любовь — они покидают своих жен, детей, оставляют без присмотра годами нажитое добро, свой скот, бросают мирную пастушескую жизнь и отправляются в набег, чтобы в чужих краях грабить, насиловать, убивать. А потом, достигнув своего и натешившись вволю, с победным торжеством возвращаются назад. И после сидят по своим домам, тревожно прислушиваясь к каждому шороху, к каждому постуку копыт, ожидая ответного возмездия и яростного нападения врагов. И нет победителям — в войне грабежа и насилия, в войне хищников и кровопийц — никакого сна и покоя.

И тем не менее, когда долго не случается очередного военного бесчинства, степной боевик начинает зевать от скуки и развлечения ради принимается стравливать хоть козла с собакой. Но если руки чешутся и скука никак не уймется в душе, будет боевик приставать по какому-нибудь вздорному поводу к соседу, к ближ-

ним, дальним — ко всем себе подобным, и вот уже вызваны им на свет, на потеху шайтану, мелкие ссоры, драки, склоки, тяжбы, воровство и убийство. Так что же ты, степняк, никак не угомонишься? Или только могила успокоит, наконец? Тебя быстро закопают в землю, и тогда те, что вчера натравливали на мнимых врагов, примутся вопить, колотить себя кулаками по вискам, рвать на себе волосы — словом, оплакивать покойника, как это и положено по обычаю.

Но пусть рыдают лицемеры, пусть льют неискренние слезы. Пусть черная кровь хлынет наконец из их глаз! Того, кто сегодня плачет по мертвецу, а завтра сам пойдет убивать, — непременно когда-нибудь тоже убьют. Воистину мертвые хоронят мертвых!

Человек что зверь. Пока ему не больно, он не думает о страданиях других. Лишь собственное горе и страдание дают ему возможность прозреть. Лишь проливая слезы, он начинает понимать печальную суть жизни.

Вот о чем думал пленник, сидя в заточении. А о чем думаем мы, сидя в заточении своей жизни? Или у нас другие мысли, совсем не такие, как у пленника? Он томится, выглядывая сквозь дыры в стене заброшенной лачуги. Сегодня он увидел, как привязанного к столбу серо-пегого жеребца увели на заклание, как пришел в движение вымерший на все сорок дней аул. Готовятся к тризне по убитому воину.

Сам пленник чувствовал, что силы покидают его, каменеет и тяжким бременем давит сердце в груди, кружится голова, и сон бежит его глаз. От горестных мыслей на душе становится пусто и черно, стучит в висках кровь, умирает надежда на всякое спасение.

Лицо у пленника бледное, изможденное, руки в кандалах трясутся, его то знобит, то всего заливают потом. Он заболел, видимо, или сорок дней тяжкого заточения довели его до смертной черты. Он чувствовал свою смерть, — вот, она подошла уже близко. И, даже не понимая сам того, чего он ищет, о чем больше всего тоскует, пленник время от времени принимался шарить обеими руками, скованными железом, то перед собою, то справа, то слева. Потом пленник приходил в себя и осознавал, что ищет свою домбру, подругу печальных лет, которой привык открывать все тайные горести своей души.

Кажется, он слабым голосом о чем-то спросил у стражников, но те отошли далеко в сторону и, глядя на юрту Жонеута, считали количество привязанных к столбам лошадей. И пленник безнадежно умолк, присел на корточки, уронил голову на грудь и закрыл глаза. Очнулся он от того, что кто-то стал дергать его за рукав чапана. Подняв голову, пленник увидел перед собой знакомого туркменского старика, Анадурды, гадалыщика и дугариста. Они раньше встречались на музыкальных состязаниях, что проходили в годы перемирия на земле адайцев, бли-

жайших соседей туркменов. Что-то такое толковал Анадурды караульным, те отвечали ему, но пленник не слушал их и потому ничего не понимал. Но наконец до его сознания дошло, что ему велят встать и куда-то идти из тюрьмы, вместе со стражей и стариком Анадурды.

Так он вскоре оказался в темно-серой просторной юрте воителя Жонеута. Там стояла такая тишина, что пленник, войдя, подумал о совсем пустой юрте, куда привели его непонятно зачем. Но, приглядевшись, он увидел, что в доме находятся люди, много аксакалов, и все сидят, не произнося ни слова, обернувшись в сторону почетного тора, где возвышался неподвижный, словно каменное изваяние, седой, как лунь, старик с нестриженной бородой, которая у него свисала только с худых щек и потому разваливалась на две стороны. И пленника охватил трепет, он понял, что это и есть отец убитого Даулета, сам батыр Жонеут, в чьих руках была тонкая, слабая нить его судьбы.

VI

За все сорок дней воитель Жонеут не был оставлен без внимания людей, с ним рядом всегда находился кто-нибудь, но сам батыр, казалось, никого не видел и не воспринимал, не произнес ни слова, не ответил никому. А сегодня он словно очнулся от глубокого сна и впервые внимательно осмотрелся вокруг себя. Тяжел был взгляд поседевшего до ослепительной белизны

воителя. И когда пленника ввели и поставили перед воителем, он изумленно уставился на него. Перед батыром Жонеутом находилось жалкое существо, мало походившее на живого человека: отощавший, бледный, похожий на свою собственную тень, пленник в кандалах, в грязной оборванной одежде вызывал в душе старого воителя чувство омерзения. Длиннорукий, к тому же сутулый, пленный казах утомленно горбился, остановившись у входа, свесив свои руки почти до колен. Он даже не стал озираться, осматриваться вокруг себя, а как только вошел, так сразу же и уставился припухшими узкими глазами на противоположную стену, словно здесь его ничто не интересовало. Можно было предположить, что он настолько бесстрашен и горделив — собственная участь его вовсе не беспокоит, окружающие люди, во все глаза уставившиеся на него, безразличны ему... Однако, взглянув внимательнее на него, всякий отказался бы подозревать его в гордыне. Видно было, что человек до крайности изможден и едва держится на ногах.

Ему велено было выйти вперед, поближе к тору, но словам он не внял, тогда один из белобородых встал с места и, ухватив пленника за скованные кандалами руки, вывел на середину юрты. Пленный казах едва волочил ноги. Белобородый снял с него наручники, сам затем отступил назад. Безучастный, равнодушный ко всему, пленник остался стоять на месте.

Жонеут гневным, яростным взглядом обвел ряды поярковых папах вокруг себя. Это что же? Вы за моего убитого сына предлагаете такую плату?— выражал его испепеляющий взгляд. За моего сына — эту полудохлую клячу? И лохматые папахи все разом виновато склонились перед ним. Лишь одна шапка не склонилась — и воитель остановил грозные очи на старом Анадурды. Тот молча поднялся и крадучись вышел из юрты. И Жонеут вновь вернул свое внимание к жалкому пленнику. Он продолжал стоять, безучастно уставясь на деревянную решетку юрты. Уж не полудурок ли, подобный манкуртам, оказался перед нами? — Жонеут готов был убить его взглядом. На лице этого полудурка ни чувства страха, ни признаков мужской, воинской, гордости. Торчит как столб, свесив прямые длинные руки, не шелохнется даже, и только ходит на тонкой шее вверх-вниз огромный, острый кадык.

Вновь появился в юрте старик Анадурды. Подошел к пленнику и протянул ему что-то продолговатое, завернутое в серую тряпку. Тот, не вняв, долго не понимал, чего хотят от него. Потом, опустив глаза, всмотрелся в продолговатый предмет — и вдруг бескровное лицо его пошло неровными пятнами румянца. Вмиг стерлось с этого лица выражение тупого равнодушия. Ему, видимо, хотелось что-то сказать, но язык не слушался, губы запрыгали, и только выпуклый кадык его дернулся еще раз и еще... С трудом он протянул руки и с робким видом принял то, что предлагали ему. Взяв этот длин-

ный сверток, пленник сразу же резко присел, словно у него подломились ноги. И только теперь, вывернув свою маленькую, усохшую голову, он снизу вверх посмотрел на окружающих — вполне осмысленным взглядом. Радость вспыхнула в его глазах. Трясущимися, непослушными руками развернул серую тряпку — на коленях его лежала домбра. Это была его старая домбра, выложенная по деке узорчатой инкрустацией. Он молча разглядывал инструмент, держа его в руках, потом стал осторожно подкручивать колки. Все присутствующие в юрте смотрели на него, затаив дыхание.

Анадурды осторожно прошел на свое прежнее место и сел. Двое бородатых караульных, пришедшие с пленником, тоже опустили на корточки у порога юрты. В наступившей тишине слышно было, как за стеной громко переговариваются джигиты, резавшие жертвенного коня, и как рычат собаки, прибежавшие на запах крови. Сквозь откинутый верх юрты падали потоки лучей неяркого осеннего солнца, и за сиянием этих лучей, косо прорезавших полутьму, скрылось лицо Жонеута, лишь видны были его широкие плечи и могучий прямой стан, каменно застывший на почетном месте.

А самому пленнику не было никакого дела до окружающих, забыл он и про самого воителя Жонеута, зловеще нависшего над ним. Не давалась домбра, отвыкли от нее натертые кандалами руки, опухшие пальцы неуклюже перебирали по грифу, плохо слушались, спотыкались на

каждом ладу. Сама домбра рассохлась, не звучала, колки расслабились, не держали струн, их никак не удавалось настроить.

Да и как хорошо звучать домбре, если срок два дня назад она тоже попала в плен вместе с хозяином и с тех пор была разлучена с ним? Тогда он выехал из Кок-баура, желая поохотиться на архаров, и уже недалеко от предгорья был настигнут ватагой туркменских наездников. Они боевито воскликнули на всю степь, словно победили целую орду, а не одного человека захватили в плен. Он же спокойно стоял на месте, никуда не убегая, ружье висело за спиной. Никому ничего плохого он не сделал, выехал в степь поохотиться. Но среди тех, кто был в этой ватаге, находились туркмены, которые сопровождали Даулета к адайцам и видели пленника во время их знаменитого состязания. Они-то и кричали громче всех, обращаясь к главарю. Особенно выделялся некто горбоносый, с пеной у рта доказывавший что-то, указывая на домбру. И вот двое подъехали к нему, забрали фитильное ружье и домбру. И тогда в его душу впервые закрался страх. И он подумал, что больше уже никогда не увидит свою домбру, не поведает ей свою душу... А теперь, выходит, он все-таки вновь увидел ее, держал в руках. И это, наверное, в последний раз.

Тяжелым взглядом, не мигая, смотрел поседевший, как лунь, Жонеут на приведенного в его дом жалкого узника. Тот поднял на воителя ответный взгляд — и тут же опустил глаза,

свесив голову к самой домбре, и надолго замер. Так замирает кормящая мать, любясь на младенца у своей груди.

Жонеут следил за каждым его движением, как голодный хищник следит за жертвой. Неужели он еще и играть задумал? Нет, не может быть. Вон, руки у него после кандалов стали корявыми, как кривые ветки саксаула... Просто ощупывает, гладит, рассматривает свою высохшую деревяшку, рад, что заполучил ее, — дрожит от радости! — ничего не замечает вокруг. И такую ничтожную тварь, такого полоумного мозгляка захватили в плен мои батыры взамен убитого Даулетжана! Разве человек в здравом уме выйдет один в степь, где свирепствует беспощадная война мести? Чтобы такого захватить — не много доблести надо. И мне предлагают его жизнь взамен убитого сына. Этого ублюдка — вместо Даулета. Этого пораженного паршой — вон, струнья выползли из-под шапочки, накрывающей его макушку, — этого паршивца взамен красавца-батыра Даулетжана.

Старый воитель резко отвернулся от сидевшего перед ним пленника и обвел темными, сверкающими глазами свое окружение. И, не выдерживая его взгляда, аксакалы, почтенные люди и известные в своих родах воины невольно опускали головы.

А между тем пленный музыкант все тренькал-бренькал на домбре, настраивая ее. Продолжалось это уже довольно долго. А он все налаживал струны, то подкручивая колки, то отпуская,

и, свернув в сторону голову, прислушивался к звуку. У туркменов, терпеливо сидевших на коврах, от жары под их папахами на голове выступил пот, струйками пополз по лбу и по вискам. Люди молчали, томились и поглядывали на Жонеута. А тот так же молчал, как и все в доме, и в этом молчании было что-то зловещее.

А домбра в руках музыканта постепенно оживала, звук ее становился все более глубоким, певучим, звонким. И наконец пролилась первая струйка мелодии, еще короткая и сумбурная, слабенькая — но это была уже музыка. Затем последовало еще какое-то время настроя и усиления музыки — и вот наконец полилась она широко, вольно. Обо всем она сразу же заговорила ясным голосом — о боли душевной, о тоске и обиде, о потерях и безвозвратности счастья, любви... Обо всем, чем до края наполнена чаша жизни каждого узника, дни и ночи которого проходят в беспредельном одиночестве... Все это лавиной звуков обрушилось на ошеломленных слушателей.

Громадный старик с суровым лицом, с белоснежной раздвоенной бородой, свисающей с его изборожденных морщинами щек, уставился на домбриста пронзительными, горящими глазами. Много дней пробыл он в этой безмолвной, как могила, юрте, словно заживо похороненный, наедине со своим огромным, испепеляющим душу горем. Хотя рядом постоянно были люди, его многочисленные приспешники, аксакалы и гости издали, Жонеут словно не видел

их, сидел на своем месте и молчал. Вы же знаете, что человек воистину остается наедине со своим горем — если это горе беспредельно. Такое горе неразделимо. Этот человек одинок и в окружении людей...

А теперь, словно пробудившись от звуков музыки, столь близко подобравшейся к его оцепеневшей за сорок дней и ночей душе, воитель Жонеут выпрямился и по-новому оглядел круг своих соплеменников. Он хотел показать им, что теперь тверд и силен, что то была великая боль души, ее болезнь, — когда он не хотел верить сообщению о смерти Даулета, даже велел не снимать еще на неделю караула с вершины дозорного холма — и эта душевная болезнь прошла. И он снова спокоен и хладнокровен, готов собирать войско и вести его в поход.

Да, Жонеут крепится, хмурится, не хочет больше показывать своей слабости. Ему представляется, что народ ждет, когда же он встряхнется, наконец, и воодушевит всех, бросит клич седлать боевых коней, идти в набег, чтобы достойным образом отомстить врагам.

А музыкант-кюйши между тем решил высказать голосом своей ожившей домбры все свое дикое страдание и боль, что испытал он в неволе, излить в музыке гнев и обиду невинно замученного человека. Однако, что значит все это для дремучего, яростного, кровожадного воителя, — вдруг пришло на ум кюйши. И ему стала ясной безнадежность его попытки. Кому

жаловаться? Зачем? Ведь седой батыр выслушает кюй и потом только усмехнется да презрительно скривит губы. А после прикажет своим псам-приспешникам искромсать его саблями на мелкие кусочки. Нет, лучше не продолжать этот кюй.

Музыкант резко прихлопнул средним пальцем по струне и перестал играть. Домбра печально вздохнула и смолкла. А потом начала совсем другую мелодию — не вызывающую, гневную и дерзкую, как та, которая только что звучала, а тихую, глухо рокочущую, исполненную печали. Его искореженные от наручников пальцы, ставшие похожими на корявые ветки саксаула, словно обрели новую жизнь и легко запорхали по грифу домбры, изящно ударили по струнам. Пленный музыкант начал новый кюй, тот самый, что пришел к нему в ужасные дни и ночи заточения, когда он был скован железом и в руках не было никакой домбры. Тогда он этими скованными руками невольно, бессознательно шарил в темноте перед собою, ища инструмент. И вот теперь домбра с ним, и впервые звучит сочиненная по памяти, рожденная во тьме застенка музыка.

Он сел чуть посвободнее, отвел руки с инструментом немного в сторону, лицо его стало отрешенным, но в узких сощуренных глазах замерцал глубинный огонь. Это произошло — и вот между кюйши и его музыкой не осталось никого. Исчезли эти полудикие люди в огромных шапках, исчез громадный седой старик с

тяжелыми темными глазами. Лишь звучала в тишине музыка, которая исходила, казалось, не от старой домбры, а влетала в дом снаружи, от отдаленных небес, преодолев всю широкую, теплую живую степь.

Старый Жонеут даже не заметил, как он оказался весь во власти глухо рокочущей музыки, на его глазах создаваемой жалким пленником, похожим на больного птенца ястреба-кобчика. Воитель вначале хотел противиться этому, старался сохранить на лице суровое, жесткое выражение, плотнее сдвигал к переносице свои тяжелые, косматые брови. Но, словно захваченный могучим волшебством, вдруг замер неподвижно и смотрел, не мигая, как порхают над кузовком-декой домбры пальцы музыканта.

Истинно вам говорю: печальная мелодия наполнила дом, и все в нем стало как зыбкое сновидение. Волшебство музыки покорило на миг и жестокий мир, и беспощадное время — эти воинственные кочевники в папах, сидящие рядами вокруг своего вождя, и седой воитель, и сам изможденный неволей музыкант в кандалах стали призрачными и едва различимыми в зыбких струях музыки, — так миражи, возникающие над волнами пустынного марева, на какое-то мгновение становятся убедительнее подлинного мира и словно растворяют его в своих несуществующих просторах.

Зазвучал новый кюй, мелодия была в начале спокойной, в ней слышались глубокие

размышления, умная рассудочность. Много лет своей жизни он хотел сыграть этот кюй, который так и просился вылететь из самых глубин его сердца, — но музыкант сдерживал себя и не давал выхода своему творению. Он видел, как зло и жестокость явно торжествуют в жизни, а нежность музыки может только оплакивать порабощенное добро. И вот, только оказавшись в туркменском плену, сидя в вонючей лачуге-тюрьме и закованный по рукам и ногам в железо, мастер наконец-то ясно понял, что музыка все равно сильнее всякого человеческого зла. И однажды глухой ночью до наваждения явственно услышал свое несыгранное сочинение.

Сколько раз там, в заточении зиндана, ему хотелось немедленно схватить домбру и сыграть этот последний в своей жизни кюй. Но лишь бряцание цепей обретали его протянутые за инструментом руки... А сейчас, держа свой старый инструмент в руках, он мог наконец высказать то, что столь долгое время носил в своем сердце. Высказать самое сокровенное всем этим старым людям, наверняка потерявшим в войнах, набегах, разбоях и междоусобицах любимых детей, опору и надежду своей старости. Дать утешение этому могучему седому воителю, лишившемуся последнего сына. О, кюйши в ту минуту почувствовал, что он могуч — может пробудить сердца, смягчить бойцовскую свирепость степных хищников и открыть этим воинственным, жестоким людям их собственную

душу, полную нежной человечности. И все это благодаря тому, что у него снова в руках домбра...

Сегодня, когда его ввели в юрту Жонеута, пленник увидел висевший на решетке-кереге дутар. То был туркменский инструмент, родной брат казахской домбры, — и музыканта словно бросило в жар, ему стало невыносимо при мысли, что уже никогда не возьмет в руки свою старую домбру... И вот чудо! Он получил ее и теперь играет на ней тот кюй, который так мучил его в тюрьме, приходя к нему по ночам, не давая ему уснуть и столь явственно звуча в его ушах — при мертвой тишине темницы.

Поначалу он долго ничего не мог сыграть не только потому, что домбра рассохлась и отвыкли руки, опухшие от кандалов. Нет, он не мог сразу справиться с радостным волнением, закружилась голова, ослабели ноги, не слушались дрожащие руки. Так мать-верблюдица, на несколько дней разлученная со своим верблюжонком, при последующей встрече никак не может дать ему молока, от возбуждения у нее закрываются все млечные створы...

Теперь он играет кюй — песнь о сладкой жизни на этой земле, столь прекрасной своими дивными просторами. И зачем им воевать, убивать друг друга, двум народам-братьям, когда так хорошо, так сладко проживать в радостных трудах длинных дней череду, ведущую к мудрой старости, растить детей, видеть их благополучие.

Жонеут на какое-то мгновение отвел глаза от игравшего музыканта — и вдруг увидел своих людей совершенно преображенными. Еще совсем недавно они ловили каждую перемену в выражении его лица, не отводили глаз от него. Теперь же все смотрели только на узника с домброй в руках. Привычные к жесткому, настороженному прищурю, глаза степняков из-под лохматых папах излучали сейчас необычный мягкий свет. Нет, это были не туркмены, это были вовсе другие люди! Где в их облике грозная воинственность, где свирепость извечных степных боевиков? Ничего этого не оставалось на их лицах, омытых чистой музыкой. Одни высокие папахи продолжали воинственно торчать на их головах. Показалось Жонеуту, что все его приспешники, подручники и соратники совершенно позабыли о нем и были зачарованы этим тощим, невзрачным, замызганным пленником-музыкантом. Разгневавшись, Жонеут метнул в одну сторону, в другую молнии своего самого грозного взгляда, но это почему-то не подействовало. Никто даже не оглянулся на него. И тогда Жонеут вспомнил слова покойного брата Кекборе. Он говорил, что все эти кюйши-бахши-дутаристы слуги нечистой силы, и сам шайтан им помогает — иначе как бы они могли околдовать и заставить часами слушать себя целую толпу народа? Да, так говорил Кекборе, и его старший брат теперь сам воочию убедился в его правоте. Воитель должен был признать, что этот полудохлый кюйши в одиночку победил всех его джигитов, сподвижников и соратников. Та-

кого воитель Жонеут не мог спустить музыканту. Он взял верх и над его, батыра Жонеута, воинской силой!

О, вы все знаете этот последний кюй пленника-музыканта. Он о том, что люди напрасно копят небо, если живут только для того, чтобы убивать друг друга. Чего им не хватает на этой божьей земле, под этим божьим небом? Не умеют они довольствоваться тем, что им дано, не умеют жить только необходимым для жизни — и это беда, ибо от зависти всегда будет черно у них на душе. И, пока алчность их ненасытна, тесно им будет в родном дому, тесно в просторных степях родной земли. А кости и черепа их воинственных предков никогда не будут надежным щитом, охраняющим и заслоняющим пределы родины от врагов. Человек не должен видеть в другом человеке врага. И тогда врагов у него не будет. Чтобы стать человеком, надо познать страдание. Если ты никогда никого не пожалел — кто пожалеет тебя самого в час скорби твоей и горькой утраты? Никто. Никто. Ты останешься один. Если ты с мечом отправишься на врага и тебя убьют, ты будешь уже вечно один — под землей — и никто не будет виноват в этом, только ты сам. И не проклинай Бога на небе, а врага на земле. Самого себя прокляни. И не бурли, не разливайся, как кипяток из котла, не старайся никому мстить за юдоль свою на земле. Лучше смирись, склони свою голову пониже, а не задирай ее гордо вверх. Усмири себя самого — и только тогда ты человек. Победи себя

самого — и тогда ты человек. А если ты стараясь вонзить зубы в другого, запустить когти во врага, то чем ты отличаешься от четвероного зверя? А лютей зверь да не ждет жалости от людей. Если ты будешь убит, то не надейся, что тебя будут оплакивать, — зверя люди не оплакивают. И ты будешь — причина своей смерти, причина причин своей смерти. Ты один будешь виноват в ней. И ни Бог, ни враги земные здесь не при чем. Вы, в папах огромных, воинственных — вы хоть понимаете, о чем я говорю? Или вы слушаете меня, чтобы отвлечься от лютой земной скуки? Но если вам приятны звуки моей музыки, то, может, и мысли мои дойдут до ваших голов, упрятанных под папаху воинственных? Но, укрощенные — кроткие сегодня, на этот час, — завтра вы снова отправитесь на разбой? Скорее всего — так, скорее всего — отправитесь на разбой, и это печально. Нет, вы не сможете стать людьми! Нет, человеческое вам чуждо — только горе и несчастье, беда и страдание приближает вас к человеку, подвигает к человечности. В горе вы похожи на людей. А во всем остальном вы звери. И, как звери, вы рыщете по свету, ищете себе добычу...

Когда закончился кюй, слезы были на глазах у невзрачного человека, жалкого пленника с домброй. Неотрывно следивший за ним Жонеут вдруг мрачно усмехнулся. Он решил, что казах своей игрой на домбре пытается разжалобить его, вымолить пощаду. Музыкант поднял свои глаза

на воителя — и теперь не отвел их в сторону. Пытливо, изучающе смотрел он на седого, могучего воина, и не было во взгляде обреченного пленника ни мольбы, ни страха, ни укора, ни гнева. Уже вполне освоившиеся пальцы его легко порхали над струнами, и сам музыкант казался уже вполне пришедшим в себя исправным человеком.

На последних минутах холодком потянуло от его скорбной музыки, как в предсмертном прощании. Мелодия тянулась ровно, но постепенно слабея. И только в одном месте вновь взвилась, порывисто дрогнула, — словно капнула за все это время одна единственная, горячая как огонь, слезинка...

Однажды Жонеут, накануне похода сына на адайцев, застал Даулета в юрте, играющим на дутаре, и от той мелодии, что он играл, тоже веяло холодком, безысходностью и предсмертной тоской. Но суровый батыр тогда не понял этого, ему лишь показалось, что у него отчего-то вдруг заныли, заломили все косточки... О чем они так тоскуют? Эти кюйши, дутаристы, бахши? О чем вечно горюют? Чего они хотят сказать нам со слезами на глазах, думал Жонеут, внимательно глядя на пленника-музыканта.

И тот, не мигая, смотрит ему прямо в лицо. Сказано уже было, что ни робости, ни страха не содержалось в его взгляде. Кажется, он хотел предугадать каждое движение души старого воина. Но смог заметить всего лишь, как дрогнуло его суровое, покрытое морщинами лицо и дер-

нулась щека, пересеченная глубокой складкой.

Старый Жонеут первым отвел свой взгляд и, стараясь казаться равнодушным, уставился на верхнюю перекладину дверного проема. Но его глаза не могли скрыть глубокой скорби, великой боли. И в них вдруг вспыхнул огонь нарастающего гнева. Казалось, что в это мгновение он пришел к какому-то непреклонному решению, и хотя на лице его по-прежнему сохранялась печаль, в глазах появилось пугающее ожесточение. Пленнику показалось, что воитель старается растравить себя злобой, вызвать в душе жестокость. Но по-настоящему жестокий человек не может быть с таким печальным лицом... Пленный музыкант снова коснулся пальцами струн, и зазвучали тихие звуки нового кюя.

Лилась мелодия, исполненная нежной грусти и мягкого, утешительного покоя. Музыка ласкала, исподволь обволакивала раненное горем сердце волнами каких-то сладостных чувств. И мгновенно, неудержимо, — одолели душу старого воина воспоминания светлых дней, и как живые предстали перед его внутренним взором чистые, юные сыновья. Дрожь прошла по всему телу Жонеута, он весь сник, будто надломилось в нем что-то, из глаз хлынули слезы.

О, куда делись твердость твоя и суровая, непреклонная воля? Старый воитель! Тебя околдовала музыка, воистину таится в ней сила шайтана! Сорок дней и ночей после гибели младшего сына он просидел в траурном молчании.

и слезы не приходили к нему. А что теперь произошло? Эта деревянная вещица с черным круглым кузовком на длинной палке — домбра — как ты смогла такое сотворить с человеком! И этот истощенный, с бледным, серым лицом пленник — как он мог вызвать в его сердце такую боль по невозвратному?..

Однажды старый воитель, пребывавший в трауре, невзначай бросил взгляд на ту сторону круглой стены, где висел на деревянной решетке остова юрты дутар погибшего Даулета. Рядом же с инструментом висели его кинжал и копье. И от старших сыновей, по смерти их, оставались висеть на стене копья и шашки. Клыч, самый старший... Алпан — средненький. Теперь все они мертвы, погибли в набегах, и только оружие их хранится на память в отцовском доме.

В тот день, когда Даулет сел на своего первого серо-пегого боевого коня, и аксакалы благословили его на подвиг, Жонеут собственно-ручно поднес ему это копье. А теперь — зачем оно висит здесь? Что принесло ему это оружие, какую славу, какую удачу? И другим погибшим на чужбине сыновьям, — какую славную долю, кроме ранней смерти, принесло оно им? О, Даулетжан, самый младший, последняя отцовская надежда!.. И тебя уже нет... В слепой ярости вскочил с места Жонеут и, сорвав со стены кинжал и копье Даулета, двумя ударами о железную треногу очага разнес их на куски. Но осиротевший дутар старик не тронул... И с этого

дня в душе его словно выгорело все — и печаль, и человеческая тоска — остались лишь гнев, черная ненависть да беспредельная жажда мести. Он стал как истекающий кровью раненый зверь — такого лишь тронь, набросится с лютой яростью, кто бы ни был перед ним. Но даже раненого зверя можно усмирить заботой и лаской, а обуянного гневом и ненавистью человека — чем можно успокоить?

Лилась дальше мелодия, широкая и раздольная — теперь она была равноударна и стремительна, как бег вольного иноходца. Казалось, музыка захватила самого музыканта и унесла его в другую жизнь, и кюйши преобразился на глазах у своих слушателей и мучителей. Он мог только мечтать о такой минуте: сейчас он сможет высказать все, что смертным грузом лежит у него на сердце. Высказать без гневного крика, без унижительного плача, без страха и упрека — а негромким, спокойным, мягким, доступным для души каждого из этих воинственных мужчин в лохматых папахах языком музыки. Все они сидят, слушают, потупив взоры, не шелохнувшись, не издавая никаких возгласов. И с улицы, за стеною юрты, тоже все стихло, и не доносится оттуда никакого шума. А седобородые аксакалы низко склонили свои головы на грудь, и могло показаться, что старые люди просто устали и дремлют, и музыка здесь не при чем. Но кюйши видел, что все до одного, сидевшие в юрте, захвачены его кюем. Даже двое здоровен-

ных бородатых охранников, сидевших у двери, опираясь на рукоять камчи, слушали своего подконвойного с задумчивым видом, слегка пригорюнившись. А справа от почетного места сидели, кучкуясь отдельно, те самые воины-сарбазы, что живыми вернулись из последнего похода. Никто из них не смотрел сейчас ни на предводителя Жонеута, ни на самого кюйши. Каждый из них думал о чем-то своем, затаенном и сокровенным, слушая тихую музыку.

Может быть, она напомнила им ту колыбельную, которую пела им мать в пору их младенчества. А может быть, они вспоминали про то, как, стараясь сдержать рыдания и глотая слезы, провожали их юные жены в далекий, полный опасностей поход, откуда не всякому суждено вернуться... Когда джигиты, обвешанные оружием, тяжелой поступью направлялись к своим скакунам, они замечали краем глаза, как, выглядывая из-за юрты, плачет-заливается жена, не решаясь выскочить из своей засады, броситься к мужу, вцепиться в стремя, чтобы удержать его дома, возле перепуганных, встревоженных, тарасивших глазенки детишек... Вопила в голос престарелая несчастная мать, уже стольких своих сыновей проводившая вот так — и безвозвратно... Сами джигиты изо всех сил крепились, но тоже были близки к тому, чтобы заплакать, разрыдаться в голос. И они спешили скорее преодолеть короткий, но столь тяжкий путь до коновязи, где грыз удила, бил копытом землю нетерпеливый боевой аргмак. Вскочив

на него, джигит зачем-то стегал и без того нетерпеливо рвавшегося вперед коня — и в туче пыли уносился прочь. А в груди так болело сердце, словно его грызли и когтили злые собаки. Тогда степной боевик, чтобы победить свою минутную слабость, старался в этом сердце пробудить ненависть к врагу. Напомнить себе, что он должен ему отомстить.

И захочется степному воину скорее настичь этого врага и одолеть его, изрубить на куски, стереть с лица земли. Представляет себе сарбаз, как ненавистный враг обрушивается наземь вместе с конем, снесенный могучим ударом, и темная кровь его бурлит, вытекая из раны. И от этой картины, удовлетворенная, успокаивается душа. И радость нарастает в этой душе — словно он уже и на самом деле догнал врага, победил его в бою, пронзив копьем...

Но разве не бывало и такого, сарбаз, когда от твоего удара и на самом деле вылетал с седла и падал на землю, под ноги коней, какой-нибудь совсем молоденький вражеский воин, только что стремившийся в сражение, размахивая над головою пикой... В пылу боя, в завихрении конских и человеческих тел, усердно работающих на дело смерти, ты лишь мельком глянул в лицо поверженного, пролетая мимо на своем озверевшем скакуне. Но потом, находясь где-нибудь на покое, наедине с собою, ты вдруг вспоминал это еще совсем мальчишеское безусое лицо побежденного врага — и тебе бывало худо. Ты становился противен самому себе. Ты чувствовал

себя убийцей. Но ты крепился, старался никому не показывать своей слабости. Вызывал в себе ожесточение и победное торжество от совершенной мести... Однако это было не истинно. Истинно же было то, что ты убийца. И нечего обманывать самого себя.

И теперь эта домбра, этот тихий задушевный кюй словно раскрыли души воинов для правды и истины. Нет, не сможет солгать домбра.

Кюйши продолжал играть, вновь переводя взгляд на Жонеута, смотрел на него неподвижным, загадочным взглядом. Словно шаман, заклинающий змею. Казалось, музыка смогла добраться до самого сокровенного в сердце человека, затронула все его потаенные отзывчивые струны. Но кюй продолжался, и уже зазвучало в музыке что-то такое скорбное, настойчивое, непонятно-властное, что поразила она всех слушателей и заставила их поднять глаза и внимательно посмотреть на кюйши. Нет, он не просил пощады. Не пал до унижения перед теми, кто его мучил. Он просто играл на домбре, а они слушали, и у них разрывались сердца, и слезы набегали на глаза.

То же, что и с другими, происходило со старым Жонеутом. С великим изумлением он смотрел на изможденного, невзрачного кюйши: откуда тому стала известной та мелодия, которую играл Даулетжан накануне своего рокового похода? Кто они, эти кюйши, домбристы? Непонятная колдовская сила заключена в них,

и покойный Кекборе недаром так ненавидел всех этих бахши, дутаристов. Он терпеть не мог музыки и женских слез, этот громогласный, горячий батыр, и когда где-нибудь натыкался на веселье с музыкой или попадал в дом, в котором плакали бабы, он поначалу пытался разогнать всех музыкантов и утихомирить окриком женщин. Но если этого не удавалось, тут же разворачивал коня и уносился прочь. Жонеут тоже был всю жизнь суров, музыки не слушал, веселья не признавал. Когда случилась страшная беда, и он потерял последнего, самого любимого сына, старый воин едва не обезумел от горя, но твердости духа не утратил и за сорок дней и ночей не обронил ни слезинки. А тут, слушая этого грязного, паршивого кюйши, залился слезами на глазах у своих людей. Да и сами-то они, посмотреть на них — что сделал с ними этот игрок на домбре? Сидят расслабленные, словно пришибленные, и у многих сарбазов также слезы на глазах ... Нет! Этого нельзя допускать... Незачем выставлять друг перед другом свою слабость. Нет. Не надо поддаваться наваждению этого казаха-кюйши. И, если в самый черный час ты не потерял самообладания, то крепись и теперь, Жонеут!

В той стороне юрты, где громоздилась утварь домашняя и всякая рухлядь, между двумя верхними жердями обрешетки натянута веревочка, на которую раньше было нанизано сорок тонких пресных лепешек. Их подвесили в день гибели младшего сына воителя. Каждый день

приходил Дегене-ахун, снимал после вечернего намаза одну лепешку и, разломив на мелкие кусочки, раздавал гостям. Сегодня на этой веревочке оставалась одна, последняя, лепешка. Вечером уже и ее не будет там. И так же, как исчезли эти сорок лепешек, постепенно со временем исчезнет и память о джигите-красавце Даулетжане...

Кюй наконец завершился. Настала тишина в юрте. Уронил домбру на колени и устало сник пленник-кюйши. Гордый, старый батыр отер руками глаза, лицо. И седые усы, и раздвоенная борода, растущая у него вниз от впалых щек, были мокрыми от слез.

Перед ним сидел пленник, словно ястребок-кобчик, нахохлившись, лоб его был весь в поту, которого он и не вытирал. Глядя прямо перед собою немигающими узкими глазами, кюйши молча ждал своей участи. Видно было, как он устал. Глаза его то и дело закрывались, и он как-будто с большим усилием открывал их снова. Туркмены, сидевшие вокруг него, зашевелились, словно с трудом приходя в себя от наваждения музыкой.

Старый воитель, предводитель рода, одинокий батыр, у которого уже не было ни одного сына, — Жонеут сидел на своем месте и неподвижными, упорными, темными глазами вглядывался в пленника. Потом отвел от него взгляд и оглянулся на аксакалов. Те зашевелились, закачали папахами. Жонеут резко, решительно выпрямился и подал рукою знак двоим стражни-

кам, которые привели из темницы сюда казах-узника. Бородатые стражники мигом поднялись на ноги, с усердным видом подскочили к пленнику и снова надели на него кандалы. Поддерживая с двух сторон, поволокли к выходу. Народ в юрте, затаив дыхание, ждал приговора от своего предводителя. Но он молчал. Лицо его было каменно-непроницаемым.

VII

Священная гора оказалась равнодушной к горю Жонеута. Изрытая дождевыми оврагами, одряхлевшая от времени, с едва заметной могилой святого на вершине, гора встретила старого воина молчанием. Так и ничего ему не ответила — на все его моления и жалобы. Только черный высокий обелиск, неподвластный времени, словно внушал ему, что надо оставаться стойким, как всегда, не терять уверенности и желания жить дальше.

Жонеут поехал назад со смутной душой. Конь с большим трудом спускался с горы по раскисшему от дождя склону. Ноги жеребца разъезжались по сырой глине, и он вскоре сам выбрал удобный спуск, перешел на узкую песчаную тропку, белевшую рядом с торной дорогой.

С высоты еще раз оглядел батыр морские дали, каменистый берег. Сквозь скупой реденький дождик море выглядело темным, хмурым и старчески бессильным, каким чувствовал себя

и сам Жонеут. Бросив на него прощальный взгляд, воитель отвернулся и больше не смотрел в его сторону. Он только слышал глухой, усталый рокот волн.

Спустившись с горы, весь мокрый, сидя на мокром седле, Жонеут направил коня по дороге к своему аулу. Отъехав немного, старик все же не выдержал, остановил лошадь и еще раз оглянулся на море, на длинный мыс, уходящий в его широкое плоское серое тело, приглаженное дождем, на высокий курган, у вершины которого находилась могила святого Темирбабы. Но уже не видно было ни этой могилы, ни обелиска над ним, — лишь вода, одна холодная вода была вокруг, властвуя там, на море, и заливая все видимое здесь, на суше. Вдоль дороги с бульканьем бежали потоки ручьев, таща на себе всякий мелкий мусор пустыни, утонувших жуков, пауков, муравьев, — неуклонно стекая с высоких мест вниз. Далее, на ровном просторе, уже накапливались на глинистых пустошах широкие тусклые лужи. Всюду, насколько хватало глаз, блестела осенняя серая вода.

Старый воитель опустил голову, подставляя ее той же воде, но струившейся сверху, с небес. И увидел, что его ноги и брюхо лошади забрызганы жидкой грязью. Напрасной была его поездка на могилу святого. Ничего не ответила ему священная могила. И теперь он возвращался еще более пустой и поникши душою, чем до этого одинокого печального паломничества...

О, душа его! Она стала как та старая дырявая лачуга-зиндан на окраине аула, в которой раньше держали несчастных манкуртов, потерявших человеческий образ, а потом на сорок дней заточили пленного казаха-кюйши. Сейчас там пусто, как в душе Жонеута, тоскливо и холодно, — лишь гуляет по пустым углам темницы холодный ветер-сквозняк.

Он спрашивал там, на могиле святого: неужели отныне мой бесстрашный народ степных воинов навсегда лишился своей силы? Ведь никто больше не жаждет боя, не хочет рыскать волком по чистому полю, ища себе славы и добычи. И боевым копьем, с которым он ходил в набеги, теперь ковыряет в очаге, поправляя дрова и сгребая жар в кучу. Выходит, что пропадает мой народ? Но ничего не ответил святой. Ничем не помог. Видать, когда люди вырождаются и мельчают, святые теряют свое могущество.

В унылый, затрепанный осенними ветрами, с мокрыми камышовыми загонами для скотины, родной аул Жонеут вернулся далеко за полдень. Навстречу из юрты выбежал Анадурды, ему и бросил поводья батыр, молча вошел в дом. И с того дня он больше никуда не выезжал.

Была поздняя осень, скорбная плакальщица — уже уставшая плакать. Дождь лил изо дня в день, почти не прекращаясь. Земля степная жидко растекалась. Мертвая полынь, разбухшая, черная, стояла на своих обнажившихся, размы-

тых потоками воды, узловатых корнях. Ночами уже слегка подмораживало. Утром с земли воскурялся сизый туман, державшийся почти до полудня. Затем, если в небе проглядывало солнце, туманная завеса таяла на глазах, быстро исчезала.

Иногда на севере, над ровным степным окомом, набухали, росли и громоздились тяжелые лиловые тучи, которыми потом затягивало все небо, и оно тяжко наваливаюсь на сырую осеннюю землю. К юртам с наветренной стороны были прислонены к кошмяным стенам камышовые циновки. На улице никого не было видно. Лишь самые маленькие верблюжата сиротливо слонялись возле домов. И если вдруг солнце прорывалось сквозь тучи, ярким пятном высвечивая какое-нибудь место в степи, на свежей отаве за аулом, верблюжья детвора бегом устремлялась туда, чтобы попастьись. А если солнце гасло и снова начинал лить холодный дождь, верблюжата так же бегом, дружно возвращались в аул и, сбившись в тесную кучу возле какой-нибудь юрты, пережидали непогоду.

Люди тоже скучали по теплу и, если выпадал солнечный денек, они высыпали из юрт на улицу. Старухи усаживались на южной стороне, в затишке, и, греясь на солнце, принимались крутить свои прялки. Старики уходили за аул, разбредаясь по сторонам, — чтобы побыть в одиночестве да подышать свежим воздухом.

В степи далеко-далеко виднелся пасущийся скот. И глядевшему на эти маленькие темные точки не верилось, что это живые существа, привычные для сердца степного жителя овцы или лошади. А по отлогим склонам ближних увалов в поисках еще не смытых дождями солончаков бродили верблюды, незаметно удаляясь от человеческих жилищ — и вдруг скрываясь за вершиной бугра.

Большие стада диких коз неожиданно появлялись в виду аула, за ними тянулись цепочки маленьких козлят. Дикие животные были вольны в том, чтобы вслед за уходящим летом двигаться в теплые южные края, а не привязываться, как домашний скот, к одному месту, — к этому разбухшему от сырости, истоптанному, унавоженному овцами, верблюдами и лошадьми степному аулу.

Осенний день короток, недолге после обеда солнце уже перестает греть, быстро клонится к закату, и люди снова расходятся по юртам. А там не очень-то уютно, жильё за день выстудило, сырой кизяк неохотно разгорается в очаге, шипит и чадит, и холодный едко-пахучий дым неохотно подымается к дымовому отверстию.

На высоко взбитой постели лежит или восседает Жонеут, целыми днями пребывающий дома в одиночестве. Справа от входа юрты висит седло с чепраком. Седло уже закоптилось от дыма. После сороковин Даулета редко кто появлялся в этой большой темной юрте. И хозяин редко покидал ее. В ней не звучат человеческие

голоса, только старуха покашливает, что-то толчет в ступке или крутит веретено, шебуршит в рухляди, гремит посудой. Старуха с утра до ночи возится в своем углу, однако приблизиться к хозяину и заговорить с ним не решается.

По исходу траура люди вначале старались почаще навещать старика, однако он встречал гостей неприветливо, был неприступен для бесед, едва цедил слова в ответ. И все тогда оставили его в покое. Лишь Анадурды продолжал ежедневно заглядывать к нему. Он желал отвлечь Жонеута от мрачных мыслей, разговаривать своего скорбящего родственника, но и ему не хватало смелости сделать это. Посидев немного, повздыхав, взглянув исподлобья разок-другой на хозяина, он уходил.

Но вот вечерами стал забегать в юрту парнишка, последыш Анадурды, которого звали Курбаном. Старики в это время обычно сидели за дастарханом, в молчании и тишине, едва дотрагиваясь до пищи. Мальчик врвался в эту тишину гнетущего молчания и вносил некоторое оживление. С его приходом у старого воина смягчалось лицо, теплели глаза. Но и с ребенком батыр ни о чем не заговаривал, не расспрашивал ничего у него. Мальчик по-свойски присаживался к дастархану между стариком и старухой, пил с ними чай. Потом он перебирался к очагу и принимался подкладывать в него кизяки. При этом он звонким голосом рассказывал о разных аульных новостях. Жонеут неподвижными глазами смотрел в огонь и молчал. Неясно

было, слышит он хоть одно слово, доходит ли до него хотя бы что-нибудь из рассказов мальчика.

На этот раз, поусердствовав у очага и выговорившись, мальчонка начал ерзать на месте, как-будто чего-то ожидая. Он переглянулся со старухой, которая знала, в чем его желание, затем исподтишка посмотрел на старика. И, заметив, что тому уже ни до кого нет дела, мальчик начал тихонько подкрадываться к той стороне стены, где на решетке-кереге висел зачехленный дутар Даулета. Остановившись напротив инструмента, Курбан снова оглядывался на старого Жонеута, но тот по-прежнему никого не замечал, уйдя в свои тяжелые думы. Тогда, решившись, понимая, что самое страшное — могут разок стегануть камчой, мальчик осторожно протянул руку к висевшему инструменту, снял его со стены. Тут же усевшись на пол, вынул из чехла дутар. От подспудной радости у мальчугана загорелись глазенки.

А Жонеут ничего этого не замечал, по-прежнему сидел на месте и смотрел на огонь очага. Сухой, ломкий, добела выгоревший на солнце кизяк, собранный жарким летом в степи бессловесными манкуртами, мгновенно вспыхивал лиловым огнем, когда его подбрасывали в огонь, и прогорал мгновенно, оставляя после себя лишь горсточку сизого пепла. Но тут черная, измазанная густой сажей кочерга принималась ворочать, разгребать полыхающий жар в очаге, и на выровненное место подбрасывался еще один кизячный сухарь — и вот опять вспышка лилово-

го пламени, в котором очень быстро сгорает, почти без остатка, сухое легкое топливо... О, ненасытное царство огня, всевластие беспощадного пламени! Все в тебе исчезает, потом остается лишь немного серой золы. Такова и наша жизнь — все в ней решается властью огненной силы. Большой огонь пожирает маленький. Сильный пожирает слабого. Потом этого сильного пожирает еще более сильный. И так без конца. Все вокруг горит, пылает, сгорает, истлевает, превращается в пыль, пепел и прах. Так какой же смысл во всем этом безграничном, постоянном, безудержном горении жизни?

Все сильнее разгорался огонь в очаге, куда подбросили много кизяку, багрово-горячий свет пламени коснулся лица, и Жонеут почувствовал, как отходит от старческого холода и постепенно согревается его усталое от бездействия тело. Но, занятый своими мыслями, воитель на покое по-прежнему ничего не замечал вокруг себя.

Вдруг какой-то глуховатый звук раздался за его спиной. Жонеут обернулся. Маленький Курбан быстро выпустил дутар и даже отдернул руки от инструмента, будто обжег пальцы.

— Вот что... Ты бери это и убирайся... Дома будешь тренькать.

Мальчик, не веря своему счастью, вскочил на ноги и, прижимая к груди дутар, молча шмыгнул из юрты. Жонеут тут же забыл о нем. Его заботило лишь то, что потеряна нить какой-то очень важной мысли, которую спугнул своим

треньканьем Курбан. Так и не сумев толком вернуться к прерванной мысли, Жонеут с досадою ткнул кулаком в подушку и затолкал ее себе под бок.

Старуха сняла с треножника казан с вареным мясом. Таких, как в прежние добрые времена, обильных, многолюдных дастарханов давно не бывало в доме, да вряд ли теперь будет. Жена расстелила перед Жонеутом куцее полотенце, на которое поставила старую деревянную чашу, всю облезлую, с обгрызенным краем, — до половины наполненную горячим бульоном. Старика в последнее время не тянуло к пище. Вот и сейчас он взял с доски всего два кусочка мелко нарезанного мяса, пожевал неохотно, съел, потом лишь прикоснулся устами к чаше — и отложил ее на старое место. Тотчас отсел в сторонку. Старуха прибрала с дастархана, сполоснула посуду в лохани, помои выхлестнула на еще горячий пепел в очаге, и там зашипело. Чуть позже она задула густо чадившую масляную горелку, и юрта погрузилась в тяжкую непроницаемую тьму.

Старики укладывались спать раньше всех в ауле, а засыпали позже других. До самого глухого часа ночи они лежали в темноте, в безмолвии, бессонные, чуткие, словно что-то стерегли, и была огромная осенняя ночь вокруг, в которой, на самом ее дне, бредил во сне затерянный в мирах маленький туркменский аул. Тишину ночи только нарушал стук водяных капель, стекав-

ших с дымохода. Больше ни звука. Ни собаки не лают, ни верблюжата не стонут, не блеют овцы, не фыркают кони. Потому что всюду холод, ненастье, дождь. Неуютно, сыро в ночи. И только тук... тук...тук — капли с крыши... Даже зверье, наверное, прячется по норам в такую ненастье, не рыщет по степи, дремуче спит в своем логовище.

А он не спит. Он забыл, что такое сон. Сидит ли дома, лежит ли в постели — чутко прислушивается к чему-то в тишине юрты. Что он — врагов ли ждет, хочет ли предугадать их набег еще за тридевять земель? Нет. Он как-то слышал разговор аксакалов, что в эту пору, в такую погоду, — слава Аллаху!— всюду стало спокойно. И Жонеут сам тоже успокоился, забыл думать о вражеских набегах. Даже от байского рода Мамбетпаны давно не приходило никаких вестей об угоне скота, о нападении... Видно, воров сейчас не интересуют богатство и тучные стада бая.

Как-то Анадурды рассказывал, что он встретился в степи со знакомым казахом-охотником, и тот ему сообщил, что Дюимкара снялся всей своей ордой с нагорья и перекочевал в долину, где находились его зимники. Жонеут тогда даже несколько оживился: стал с нетерпением ждать этого адайского хищника. Но с того дня прошел уже месяц. Враг так и не появился, воспользовавшись удобным для себя временем.

Недавно ему приснился сон. Будто кто-то из его людей, он не запомнил, кто, — прискакал

откуда-то издалека, с северной стороны, и, размахивая руками, выкрикивал что-то невразумительное, тревожное. Но Жонеут во сне догадался, о чем столь отчаянно вопит напуганный джигит. Это Дюимкары появился с севера, наконец-то его лютый враг сам идет к нему! Воитель кинулся седлать коня, но его боевой аргамак исчез куда-то. “Эй, люди! — хотел крикнуть Жонеут. — Подайте мне коня!” Но совсем пропал голос, еле слышным сипением выдавился из его груди. На него навалилось тяжкое удушье, он замахал руками, замычал жалобно... И тут его растолкала старуха.

Он открыл глаза, полежал неподвижно в постели, вслушиваясь в звуки, доносившиеся с улицы. Соседка, видимо, что-то толкла в ступе, неистово колотя пестиком, и одновременно с этим криком кричала своему сынишке, который пас на краю аула верблюжонка. Мальчишка издалека отвечал ей звонким, высоким голосом.

С того раза Жонеут перестал ждать появления Дюимкары. Видимо, не суждено им схватиться в последнем для кого-нибудь из них поединке. Слышал Жонеут, что Дюимкара славен не только как воин, великий батыр, но он стал и большим богачом, настоящим баем. Значит, забот ему в эту пору хватает, непростое это дело — пестовать свое богатство. Да и погода какая настала. Нелегко в такую погоду управиться с несметными стадами скота. И не станет бай Дюимкара отправляться в набег, чтобы отомстить за какого-то там кюйши, — пленен-

ного, и затем жестоко казненного туркменами. Никто из адайцев не захочет, видимо, подвергать себя смертельному риску ради мести за этого неказистого домбриста.

Старый Жонеут перевернулся на другой бок. Теперь ему не уснуть, так и будет ворочаться в постели до самого утра. С того дня, как он казнил пленника, бессонница стала мучить его по ночам. Покоя нет ему даже в мягкой постели, словно была она выложена колючками. Бывало, вернувшись из похода, он спал беспробудным сном по несколько суток. Так спит дехканин, завершив свою тяжкую осеннюю страду. Хоть отрежь ему уши — не проснется...

Потерял сон и покой. Какой там сон! Только стоит Жонеуту коснуться головой подушки и закрыть глаза, как в них возникает низина между двумя длинными плосковершинными угорьями, вся густо заросшая темным кустарниковым тугаем. Эту низину пересекает, сбегая с холма на холм, старая караванная дорога. Она тянется от Мангыстау и разделяется потом на две тропы, одна идет на Хиву, другая — на Балхаш. По этой дороге постоянно, в любое время года, следуют путники, передвигаются торговые караваны.

Туда, в заросшую кустами котловину, проследовало человек сорок верховых во главе с Жонеутом — в тот самый день... Пленный казах был с ними. Они прибыли на место слишком рано, чуть пополудни, — скрылись в кустарнике

вместе с лошадьми и, устроив тихую засаду, прождали до темноты. Однако за все это время никаких караванов, ни даже одинокого путника не проехало. И после захода солнца ватага покинула укрытие, быстро выбралась на дорогу. Джигиты спешили. Кроме них вокруг не было ни души. Край неба на юго-западной стороне уже затянуло густой ночной мглой. И с этой мглой сливалась вся темная долина, и не различить было в темноте ни дороги, ни густых зарослей кустарника.

Трое из ватаги отвязали от своих тороков лопаты и, засучив рукава чапанов, начали рыть яму на едва различимом краю дороги. Этих копателей сменили другие, людей было много, менялись часто, и скоро глубокая, в человеческий рост, яма была готова. Стащили с коня пленника и, даже не сняв кандалов, живым спустили в эту приготовленную для него могилу. Несчастный как-будто тихо подвывал и стонал, беспокойно озираясь вокруг, но никто не обращал на него внимания. Ни слова не было произнесено, все происходило при полном молчании. В три лопаты яму быстро засыпали, — вместе с человеком, — и ее края выровняли с поверхностью придорожья. На земле лишь осталась торчать голова казнимого. И он не произнес ни слова, не нарушил страшного молчания. Его мучители, закончив свое дело, вскочили на коней и тут же помчались по дороге в сторону своего аула. Темная, круглая голова на земле повернулась, и еще живые, осмысленные глаза человека долго

смотрели вслед удалявшимся в полумгле всадникам. И зарытый по самую шею пленник скоро остался один в своей смертной пустыне.

Всадники торопливо нырнули в ночь и, нахлестывая коней, мчались по дороге, с обеих сторон зажатой черными зарослями саксаулового тугая. Черные деревья проскакивали мимо, словно стремительно бегущие навстречу стада громадных призрачных верблюдов. Степным боевикам казалось, что смертная долина, из которой они старались скорее выбраться, вся наполнена неистовыми, зловещими призраками, готовыми накинуться на них сзади. И всадники нахлестывали своих лошадей. Те испуганно шарахались из стороны в сторону, сбивались с дороги и, налетев на кустарник, с ходу проламывались грудью сквозь густые ветви. Сухой хворост с треском переламывался под их копытами, и каждый раз при этом, словно от неожиданного выстрела, конь вздрагивал под всадником, испуганно втягивая брюхо. Порой он на бегу принимался ворочать из стороны в сторону головой, тревожно прядая ушами, и тогда у всадника начинало колотиться сердце, душа замирала от страха. И, прислушиваясь к шуму пробивавшейся сквозь тугаи ватаги всадников, дикое зверье, — кабаны, косули и хищники, — опрометью уносились во все стороны. Попадая под ноги коней, громко шипели змеи и вараны.

Поспешное бегство туркменов из долины, где совершилась страшная казнь, сопровождалось полным молчанием. Не подавал ни звука и сам

Жонеут. Его опричники, каждый уйдя в самого себя, не замечали друг друга, — словно ехали в ночи при полном одиночестве. А ведь после удачного набега, спеша вернуться домой, они обычно весело перекликались, издавали молодецкие возгласы, хохотали на всю степь. Но той ночью их высокие папахи приникли к шеям коней, затравленные взоры метались по сторонам, словно джигитов преследовали и они бежали от врага.

Взошла на небосклоне луна. В ее зыбком свете черные всадники, один за другим, выбрались из тугайных зарослей на открытый простор и дальше ехали уже врассыпную. До аула добрались перед восходом солнца. Все также молчком, не перекликаясь, разъехались по домам. Накануне выезжали с шумом, гиком, а возвращались тихо, по-воровски, крадучись.

Днем никто из них не появлялся из своих юрт. Полузагнанные, взмыленные, стреноженные кони были отпущены попасть на луга за аулом. До вечера в нем стояла странная тишина. Еще не угасла на небе кроваво-красная вечерняя заря, а в юртах закрыли тундуки, люди готовились ко сну. И лишь слышно было, как за околицей фыркают, отчихиваются пасущиеся кони да посапывают на привязи возле юрт улегшиеся на землю верблюжата.

Над степью, над безлюдным аулом, словно воспарил и завис ангел смерти Азраил. В наступившую ночь во всех домах люди не спали, тяж-

ко вздыхая, ворочались в постелях. Свет луны проникал в щели и дыры юрт прямыми, как копье, яркими лучами. Люди вслушивались в тишину. Их сейчас страшил не только вооруженный враг, быть может, подкрадывавшийся к аулу, — они испугались бы и появления из ночи какого-нибудь заблудившегося одинокого мирного человека. Даже от конского ржания они вздрагивали в своих постелях.

Жонеут в своей большой темной юрте тоже не спал. Он утомленно закрывал глаза — и сразу же их широко раскрывал. И прислушивался, прислушивался к чему-то. Так и промаялся до глубокой ночи.

На кучу кизяка, собранную и наваленную возле юрты пленными манкуртами, уселся прилетевший из ночи козодой, долго и нудно жаловался о чем-то своем, птичьим, потом улетел. И через минуту подал голос уже издалека, с другого края аула, куда перелетел. Но вскоре козодой совсем умолк. В наступившей тишине только и слышно было, как осторожно вздыхает старуха, переживая, видимо, за своего старика. Заскребла мышь по дну мучной лари, пытаясь прогрызть ее. И воителю Жонеуту вдруг стало страшно в своем доме, в своем родном ауле, затерянном среди гор и степей, — на самом дне мира. Впервые в своей жизни испытал страх этот старый воин.

Надвинулось и свершилось что-то страшное, грозное, неотвратимое. И теперь ничего не по-

править. Лунный прозрачный лучик передвинулся по юрте и осветил висевший на стене кинжал. И Жонеуту захотелось взять его в руку, чтобы вернуть себе уверенность и спокойствие. Где-то далеко за аулом взвыл шакал. Ему ответила своим тьякканьем лисица. Это они сошлись, должно быть, у старого скотомогильника. Не могут поделить падаль. Оскалились друг на друга, яростно щелкают зубами.

Но до чего же длинна ночь! И никак не уснуть. Даже крепко закрыв глаза, Жонеут не может избавиться от одного и того же видения. Старая караванная дорога. И такая же ясная луна над нею, как и подлинная в этой ночи. На краю дороги торчит из земли круглая голова закопанного кюйши. Эта голова с мольбой и болью в глазах смотрит в ту сторону, куда ускакали всадники в высоких папах. Страшно человеку, по шею закопанному в землю. Как невыносимо больно всему телу, рукам и ногам, с которых даже не сняли железных кандалов. По его лицу, покрытому смертным потом, ползают муравьи. В груди, сдавленной плотной, тяжелой глиной, отчаянно бьется сердце. От его гулких ударов сотрясается земля. Вдруг голова закопанного домбриста медленно поворачивается и смотрит в другую сторону. Что же там он видит? Из чернеющих кустов тугая выползают какие-то неясные большие тени. Они надвигаются медленно, неотвратно, все ближе и ближе. Глаза на беспомощно торчащей из земли темной голове напол-

няются ужасом, закопанному человеку хочется крикнуть, завопить от страха, но он не смеет. Ему кажется, что если закричит он, наполняя весь подлунный мир своим воплем, то чудовишные тени прыгнут на него и задушат. Лучше тихо-тихо затаиться. Перемочь свой страх. А вдруг это не чудища, а мои палачи в лохматых шапках вернулись и крадутся ко мне, чтобы домучить меня, думает голова и втягивается на шею, словно хочет спрятаться под землю. Но, может быть, они пожалели меня и возвращаются, чтобы выкопать из ямы? Сначала просто решили попугать, а теперь желают освободить... И казнимый домбрист с надеждой прислушивается, ему кажется, он слышит слабый перестук лошадиных копыт. Но нет, это не копыта стучат — это звуки тяжелых, страшных шагов смерти, и они звучат из глубины земли. А черные тени подступили уже вплотную. Шаги же подземные звучат еще далеко. И вдруг содрогнулся от ужаса тот, чья голова торчала из земли. Черные огромные тени, наползавшие на него — вблизи оказались мелкими, отвратительными тварями. У них наглые, мохнатые, омерзительные морды... Шакалий оскал, высунутые красные язычки свисают из пасти. Вот они учуяли человеческий запах... Сейчас набросятся и вопьются в лицо своими острыми зубами... Ах, швырнуть бы палкой в тварей! Вздогнуло, похолодело закопанное тело домбриста. Он закрыл глаза и стих, уткнувшись подбородком в землю. Пусть скорее налетят, истерзают голову, а потом выко-

пают, как шакалы, и все его тело из-под земли...
А-а!.. А-а!

Жонеут вскочил, бросился к стене, сорвал с нее кинжал. Затем снова вернулся в постель. Он положил оружие рядом с собою на одеяло, стал гладить трясущимися пальцами ножны, на которых он помнил каждый завиток накладных украшений, каждую выбоину. Потом крепко ухватился за привычную, надежную рукоять своего старого боевого друга. И все чудовища вмиг сгинули, словно отпрянув от него. Сердце старого воина гулко билось, словно готовое выпрыгнуть из груди. Но постепенно он успокоился и положил рядом с собой оружие. Тихо было в его доме, тихо и жутко. Даже мышь перестала грызть дерево мучного ларя. Шакал на дальнем могильнике перестал рывкать. И лишь по соседству в маленькой юрте, где раньше отдельно жил Даулет и куда теперь, в приближение зимы, были переселены пленные казахи-манкурты, звучали их грубый храп, сонные всхлипы и зверский зубовой скрежет.

Да, старый Жонеут постепенно успокоился, но к нему в привычной тишине ночи вернулась одна мучительная мысль, от которой он страдал не меньше, чем от кошмарных видений. Это была мысль о том, что было бы, если он, Жонеут, не казнил домбриста, не закопал его живьем в землю. Что было бы? От Анадурды воитель узнал, что это оказался тот самый домбрист-казак, с которым Даулет у адайцев состязался в музыке. И с ним поделил главный приз,

потому что судьи на этом состязании признали обоих лучшими из музыкантов, но не могли определить, кто из них лучше. И надо же было случиться такому, что именно его захватил в плен возвращавшийся с погибшим Даулетом отряд. Но последний сын воителя был истинный джигит, а этот кюйши? Заморенный жизнью несчастный мозгляк — не воин! Не воин! А для мести, чтобы рассчитаться за Даулета, нужен был такой же отважный, дерзкий воин, которого можно было бы изрубить на куски и бросить собакам-волкодавам на съедение!

Но что было бы, все-таки, если этого жалкого казаха Жонеут не стал казнить, а отпустил бы подобру-поздорову домой? Что сказали бы тогда его люди? А сказали бы, что Жонеут, их боевой предводитель, постарел, от горя весь размяк и ослабел душою, как баба, и нет уже того батыра, который раньше водил их в походы и всегда побеждал. Вот что сказали бы люди его рода да и все из других туркменских племен.

И тогда умрет слава великого батыра, власть его над своим народом кончится, не пойдет он за ним, и уже никогда не сможет Жонеут отомстить адайцам за смерть трех своих сыновей. А если он казнит этого пленного казаха, закопает его живьем на обочине караванной дороги, по которой казахи то и дело снуют туда и сюда за покупками, то в Конрат, то в Хорезм, — увидят они это страшное дело, кровь в них закипит от злобы и негодования, и, очертя голову, они кинутся мстить. Тогда ужаснется и оскорбится

сам Дюимкара, убивший брата Кекборе, злобный Дюимкара, чей род принес столько бед туркменам, отнял у Жонеута и самого младшего, последыша Даулетжана. Ужаснется и оскорбится Дюимкара и возглавит поход мести.

И сразится с грозным адайцем Жонеут, и духи предков ему помогут, он перегрызет глотку своему лютому врагу, и захлебнется тот в собственной крови. Мечь! Мечь нужна была старому батыру. Отомстит он — тогда только может умереть спокойно. А если он погибнет в бою, что же, пусть будет так — одна его жизнь не дороже жизни трех его сыновей. И что бы то ни было, он оставит своему народу пламенный завет — мстить, пока будет жив хоть один его соплеменник. И никогда батыр не станет призывать к примирению и миролюбию, к взаимному прощению и смирению, как этот кюйши в своей предсмертной музыке, — знавший и чуввавший, наверное, что все равно будет казнен, что скоро умрет... Но и самой смертью своей проклятый кюйши-домбрист продолжает призывать все к тому же! Продолжает терзать душу старого Жонеута. И смотрит, заглядывает — в кошмарах наяву — своими узкими, глубоко сидящими глазами в самую душу старого воина. И голова торчит из земли, как будто зовет она к себе Жонеута для самого главного, самого важного разговора.

Ты, несчастный кюйши! — вскрикивает про себя Жонеут. Может быть, Аллах тебя не оставит, и пройдут по той дороге, направляясь в

Хиву или Конрат, какие-нибудь люди, и увидят тебя, и откопают еще живого. А не откопают, и ты умрешь в пустыне мучительной смертью, закрытый в тяжкую землю по самую шею — что ж, прими смерть достойно, кюйши. Или твоя жизнь дороже жизни Клыча? Дороже жизни Алпана? Брата Кекборе? Или дороже жизни моего младшенького, Даулетжана?

Да, ты сделал все как надо, Жонеут, говорил старый воитель самому себе. Все правильно. Ты не показал своей слабости врагам. Пусть враги знают, что ты по-прежнему можешь быть жестоким и беспощадным к ним.

После таких раздумий успокаивался Жонеут. На сердце отпускало. И даже недолгий, желанный сон мог сойти, наконец, на него. Но во сне опять его одолевал и мучил этот тщедушный адаец-кюйши. И все, что было навеяно в душу Жонеута его музыкой, заставившей старого воина заплакать, вновь возвращалось к нему. И опять снилась ему заросшая темными кустами долина между двух увалов, по которой проходила караванная дорога. Он пробирался сквозь жутковатые заросли, под ногами прощмыгивали какие-то мелкие зверьки, шипели змеи, за руки цеплялись, словно хватали их, колючие ветки. Путь сквозь эти кусты был долгим и мучительным. Наконец он выбирался к дороге, уже видел ее впереди, но шагать становилось все труднее, ноги вязли в зыбучем песке. Вдруг позади как будто зацокали копыта. Жонеут отскочил к кустам, затаился. Он почувствовал, что за ним следят чьи-то пристальные глаза. Впрочем, от

самого аула, как он выехал, старик чувствовал слезку за собой. Наверное, хотят узнать, зачем он пришел сюда. Так зачем он пришел сюда? Освободить пленника, которого сам и обрек на казнь? Нет, нет! Это стало бы посмешищем для всех. Устыдился своего поступка, скажут. До смерти испугался, скажут. Голова, торчащая из земли, страшит его. Ему, старому воину, жалко эту голову, скажут. А вот и она, сама голова, словно отрубленная и лежащая на земле сама по себе, на ровном месте, у самого края дороги. Никто, значит, еще не заметил ее. Видно, мало сейчас проезжих на этой караванной тропе. Но Жонеут освободить этого кюйши, чья голова торчит на придорожье, никак не может. Потому что он, Жонеут, сам приказал закопать пленника живым в землю. А его слово должно быть твердым. И не в этом дело — освободить, не освободить казаха. Главное — что он еще жив! Вон, темнеет круглая голова, освещенная лунным светом. Звери — или чудища? — ее не объели. Цела она. Только чуть отвернулась в сторону и, уткнувшись подбородком в песок, неподвижно замерла. Словно дремлет. Подойти к ней? Но зачем... И как это возможно: еще увидит тот, кто тайно следит за ним. Все же лучше выходить сюда ночью. А днем скрываться в зарослях тугая. Ночью подойти к голове, сесть рядом с нею на землю и сторожить, отгонять от нее зверей. И так до тех пор, пока кто-нибудь не пройдет по дороге, не заметит ее. И тогда казахи освободят своего человека, выкопают из земли. Дня три он еще протерпит. А за эти три дня

обязательно пройдут по дороге какие-нибудь казахи. Три ночи Жонеут покараулит эту голову. В ауле скажет, что все это время был на охоте... Тут ему показалось, что голова шевельнулась и, чуть повернувшись в его сторону, приоткрыла глаза. Неудержимо захотелось Жонеуту подойти к ней, сесть рядом и поговорить. Несколькими торопливыми шагами он пересек пустое место между кустами и караванной дорогой, подошел к голове, низко нагнулся к ней... Но это же... О, ужас!

Вы слышите меня, добрые люди? Во сне бедный отец увидел, что торчавшая на земле голова, ярко освещенная лунным светом, была головою его покойного сына Даулета! Не взглянув даже на отца, голова Даулета медленно отвернулась в сторону. И такая могучая, нездешняя печаль была на лице забитого в тяжкую землю сына! Чье бы отцовское сердце выдержало такую страшную встречу! О Аллах! Ты бываешь жесток, но Ты всегда справедлив. Ты насылаешь сны, которые казнят нас, грешных, но оставляют живыми. Велик Аллах! Жонеут во сне кинулся спасать сына. Он стал руками быстро-быстро разгребать землю возле головы. И странное дело! Земля была мягкой, как пух, но не давалась она рукам — проскакивала между гребущими пальцами. Разрыть яму не удавалось. Даулет, как бы зная о тщете отцовских усилий, так и не повернул к нему своей головы. И Жонеут, бессильно уронив руки, перестал копать. В это мгновение, наконец, что-то в груди, в

самом сердце старого батыра, прорвалось — и вырвалось на белый свет, и Жонеут, воздев руки к небу, издал нечеловеческий вопль: “Родной мой! Ну, говори! Почему молчишь, сынок любименький?”

Голос был хриплым, незнакомым самому Жонеуту. Он проснулся весь в слезах. Жиденький рассвет просочился в юрту сквозь отверстие в крыше. Бесцветно серым, безжизненным, призрачным было все то, что мутно проступало перед глазами в его доме: войлок стен, деревянный решетчатый остов юрты, наваленный грудами житейский скарб. Непонятно было старому Жонеуту — во сне ли ему видится все это, столь похожее на жизнь, или жизнь его стала как сон. И в надежде, что будет все-таки яснее, если обратиться к Богу, Жонеут, на всякий случай, решил помолиться. Утерев слезы, старый батыр зашептал молитву.

За юртой тихо, протяжно застонал верблюжонок. Слышно было, как поднялась на ноги дойная верблюдица, с хрустом расправляя суставы, тихонько подревывая. Старуха была уже во дворе, гремела подойником.

После той ночи для Жонеута жизнь перестала разделяться на сон и явь. Он уже не различал их, старый, несчастный человек, и мы знаем теперь, что так было с ним уже до самого конца. Томительно, бесконечно долго тянулись его последние дни. Еще совсем недавно он не замечал, как проходит время, и месяц для него пролетал как один день. Теперь же, словно лисовин-корсак в норе, старик забивался в юрту и,

лежа в постели, ждал...ждал. Ночью с нетерпением ждал, когда настанет утро и взойдет солнце, днем ждал, когда же пройдут эти бесконечные нудные часы до вечера и, наконец, придет ночь. Раньше он определял время, дней проходящих череду, по разным значительным событиям жизни, по походам, по удачным или неудачным набегам, по тому, когда встречал-проводил почетных, уважаемых гостей. И обычно говорилось: "Через два дня после отъезда Мамбетпаны"— или: "За три дня до похода на адайцев, в котором взяли в плен шестерых манкуртов". Теперь он и не говорил вслух, а лишь думал про себя: "В ту ночь, когда мне впервые приснился кюйши" — " В тот день, когда во сне я о чем-то жаловался пленному домбристу".

Итак, мы знаем, что последнее время своей жизни он больше пребывал во сне, нежели в яви. Люди всей округи словно забыли про него, и даже верные когда-то подручные и приспешники больше не навещали старого батыра. В последний раз они были с ним в ночь казни казахского пленника. Эти сорок джигитов славной ватаги раньше верой-правдой служили своему предводителю, беспрекословно выполняли любое его приказание. И в тот день — они без лишних слов поехали с ним к караванной дороге, расторопно, умело вырыли яму, закопали туда казаха живьем, потом сели на коней и ускакали прочь. Все вместе вернулись в аул, молчком разошлись по домам. Но с того самого дня никто из опричников больше не появлялся на его глаза.

Что же они теперь делают, думал Жонеут. И представлял себе: сидят в своих юртах, хлопочут возле очагов, суется рядом с бабами и детворой. Иной чинит сапоги, другой мнет кожу, третий лудит дырки в старых казанах.

Нынче изредка заедет лишь какой-нибудь аксакал к старому Жонеуту, сообщит про виды на пастбища в этом году, поговорит о покосах, о пересохших водопоях — и тому подобных житейских обыденностях. А ведь раньше, бывало, заявится такой седобородый и, сидя на почетном месте, начнет вспоминать о славных предках, об их воинственных делах, о батырах, одинаково ловко, беспримерно владевших и копьем, и саблей. Если раньше все это рассказывалось с желанием угодить хозяину, степенно, с осторожной поглядкой на него — следя за каждой переменной в его суровом лице, то теперь о сказочных батырах и не поминали, а про аульную обыденку мололи как угодно, брехливо, словно это не аксакалы были, носители мудрости, а самые заурядные пустомели. И слушая их, ясно понимал старый Жонеут, что нет уже у него никакой власти над народом, что ушло его былое могущество, а вместе с этим — страх людей перед ним и показное уважение. Поэтому и не любил Жонеут, когда приходили к нему, сидел перед гостями с каменным лицом, с ледяным холодом в темных глазах. Да теперь к нему редко кто и заглядывал.

Не показывались даже соседи. Словно уехали куда-то. Хотя и не слышно было, чтобы кто-нибудь из них откочевал. Доносились в юрту

лишь знакомые, привычные звуки повседневной жизни. Кто-то постукивал пестиком в ступе. Кто-то потюкивал молотком. Там скребли по котлу. Тут громко и нудно разговаривали — про какого-нибудь паршивого козленка или о запропавшем куда-то верблюде. А то за стеной бессловесные манкурты с шорохом высыпали из мешков сухие лепешки кизяка.

Так о чем же он мог бы поговорить с соседями? Горько усмехнувшись, Жонеут переставал вслушиваться в доносившиеся звуки жизни и всецело погружался в свои мысли... Вот если бы поговорить с тем казахом-домбристом... Ему, единственному, смог бы Жонеут поведать свою печаль. Ведь тот своей музыкой говорил о том же, что было на душе у старого воителя. Но наяву — не во сне — никак невозможно было поговорить с домбристом. Да и мучительно неловко, больно было даже подумать о таком разговоре. И Жонеут старался быстрее перевести свои мысли на что-нибудь другое. Не то подслушают, угадают ненароком, о чем он думает, и посчитают, что батыр Жонеут спятил.

А во сне он становится смелее, добрее, свободнее, во сне говорится ему легко, вольготно. И вся житейская мелочная дребедень уже не касается его. Во сне он тихо жалуется домбристу на эту бессмысленную, тупую жизнь. Тот очень внимательно, даже слишком внимательно, выслушивает старого батыра и по-доброму улыбается при этом. “Ну, что мне тебе сказать? — говорит кюйши. — Ведь все, что хотелось бы тебе поведать, я уже рассказал в своем кюе. Ты помнишь?” — “Помню, конечно, — безо всякого

смущения отвечает Жонеут.— Но позволь не согласиться с тобой, кюйши. Да, я плакал, слушая тебя. Но это не значит, что я должен отступить от той правды, которую знаю. Ведь если людям дать полную волю, если люди не будут знать страха, то они распустятся вконец и станут, как серая слякоть на дороге. И любой негодяй сможет ими помыкать. Людей надо шевелить, толкать их, чтобы они не заснули”. На что кюйши, с серым изможденным лицом, опять улыбается — и молчит. Он очень долго смотрит своими печальными глазами куда-то вдаль, потом тихим голосом произносит, словно про себя: “Нетерпеливого батыра может увлечь даже пустая прихоть, а терпеливого — лишь гордая, высокая, неосуществимая мечта”.

Измученным, беспокойным просыпается Жонеут после этих томительных разговоров во сне. Но стоит только ему открыть глаза, как отчаянные, мятежные мысли, страсть и гнев, и горькие сомнения вмиг истаивают в его душе, и ее вновь захватывает тоскливая пустота одиночества. Не с кем ему в этой жизни поговорить, разделить свое великое, бескрайнее одиночество! Единственного человека, который мог бы его понять, он предал лютой казни, закопал живьем в землю. Теперь-то старый батыр понимает, что больше всего ему хотелось пощадить кюйши, отпустить его на волю, но он не сделал этого, чтобы не показаться перед своими людьми слабым, обессиленным, утратившим мужество и воинский дух предводителем. Он побоялся суда этой презренной, суетной черни и не спас ни в чем

не повинного, несчастного человека. Простить себя за это старый Жонеут не сможет никогда.

И вот опять ему приснилось. Он выбрался из зарослей, вышел на край дороги — и увидел такое, что леденящий ужас охватил его. Громадный серый волк, оскалив зубы и глухо рыча, бросился к торчавшей на земле голове. Жонеут выхватил из чехла ружье, прицелился в зверя. Но нечеловеческий, страшный вопль издала голова: “Не стреляй! Дай мне умереть! Или лучше сам убей меня!” Волк оглянулся на Жонеута, мгновенно отпрянул в сторону и сгинул в кустах. Когда Жонеут подошел, весь дрожа, к голове кюйши, то увидел, что тот отчужденно нахмурился. Старик нагнулся к нему и виноватым голосом стал объяснять ему, что он казнил его только для того, чтобы выманить Дюимкару на ответную месть. Но этот проклятый Дюимкара даже пальцем не пошевелил, чтобы отомстить за своего соплеменника. Воитель Жонеут оправдывался перед казненным, но тот словно не внимал его словам и с искаженным от боли лицом, все также хмурясь, отвернул голову в сторону. Страдания его были велики. До самой шеи закопанный в землю, он испытывал такие телесные муки, и душа его была охвачена таким омерзительным, холодным адом предсмертного томления, что хотелось ему, наверное, и на самом деле скорее умереть, чем выслушивать оправдания Жонеута. А тому хотелось сказать кюйши, что теперь-то он понимает, какое подлинное значение имеют слова “месть”, “воинская честь”, “победа”, “слава предков”. За всеми этими словами стоят люди, готовые убивать дру-

гих людей. Стоят палачи. И он, Жонеут, самый первый из них.

К исходу дней своих батыр Жонеут весь усох телом, осунулся лицом, сник духом. Вконец измученный, чувствуя, что смерть не за горами, старый воин решил в последний раз навестить могилу святого Темирбабы на берегу моря. Он тогда съездил один, в ненастную холодную погоду, и нашел древний мавзолей полуразмытым, прошли сильные дожди, и потоками ее почти снесло глиняную насыпь. Одиноко и сиро торчал на вершине холма темный от воды обелиск из дикого камня. Никаких душевных сил не вернув старику святой Темирбаба, не было от него ответа ни на один вопрос. Лишь бездонную черную тоску обрел старый Жонеут на этой заброшенной потомками могиле.

Приблизился его последний день, чего он никак не знал, знать не мог, — с самого раннего утра, когда серый бесцветный рассвет чуть разбавил тьму юрты, Жонеут оставался в постели, прислушиваясь к дробному стуку дождя по крыше. После бессонной ночи чуть придремал старый батыр — и опять ему явился сон. Это был его последний сон. Он снова выбрался из чащобы котловинного тугая к караванной дороге, у края которой торчала на земле голова. От какого-то непонятного волнения он задыхался сильнее, чем обычно, лицо его было залито не то дождевыми струями, не то липким потом. Во сне также лил дождь, и земля раскисла, к ногам липла вязкая глина, надо было скорее

выбираться на песчаное место, светлевшее по самому краю караванной тропы. И вот наконец он у цели! Но что это? Вместо головы кюйши, который обычно встречал Жонеута то приветливо, то хмуро, сейчас на прежнем месте скалил зубы объединенный дочиста белый череп! Видно, звери все-таки добрались до него, и я не укараулил!— весь похолодел Жонеут. Он увидел в стороне широко разрытую яму, в которой из желто-серой супеси вылезали дуги обглоданных ребер, узловатым жгутом торчал шейный позвонок. Съели звери бедного кюйши! И вдруг белый череп рассмеялся, жутко ослабив зубы: “Ах вот оно что! Тебе стало жалко несчастного кюйши? А ведь это не волки сожрали его. Это ты, Жонеут, ты сам съел его!” — выкрикнув все это, череп захохотал, раскрывая пасть и шелкая зубами. Старик крепко закрыл глаза, чтобы ничего этого не видеть — и тут услышал еще далекие, но все приближающиеся звуки знакомого кюя. Он снова открыл глаза, чутко прислушиваясь. И увидел, что находится в степи. Кругом была безлюдная пустыня. Музыка доносилась сюда словно из-под земли. О, знакомая теплая музыка!

Невыносима она была для Жонеута! Он повернулся и изо всех сил побежал куда-то. Но от мелодии кюя, от звуков домбры было не убежать. Музыка летела вдогонку ему, обволакивала его душу и тихо гасила ее.

Старый Жонеут отбросил одеяло и вскочил с постели. В одном белом исподнем, босиком — он кинулся из юрты, на ходу зажимая уши рука-

ми. Что-то невразумительное, тонким голосом, словно ребенок, выкрикивал при этом. С разбегу ударился головою о притолоку и, пошатнувшись, словно воин, получивший под сердце стрелу, с тяжким стоном рухнул ничком на пороге.

Еще утром, заметив, что старый муж уснул, старуха прихватила свою прялку и отправилась к соседям, в юрту Анадурды. А там мальчонка их. Курбан, сидел и нахлестывал пальцами по струнам дутара. Все последнее время Курбан не расставался с музыкальным инструментом, который был столь неожиданно передан ему. Сегодня с утра он начал вспоминать и подбирать на слух тот самый кюй, который сыграл домбрист-пленник из рода Адай, в последний день своей жизни. Курбан тогда стоял снаружи юрты, прислонившись головою к войлочной кошме стенки. А сегодня он ясно вспомнил первые звуки вступления, похожие на плеск струй быстрой речки, — затем переходящие в ровный, стремительный галоп резвой степной лошадки. Мальчик Курбан уверенно повел в музыке, старый Анадурды сидел напротив и слушал его, потупив голову, — и тут в юрту донесся предсмертный тяжкий стон Жонеута. Кинулись к его юрте и увидели, что лежит старый батыр на пороге, странно скорчившись, словно в грудь под сердце ему попала летучая стрела. Перевернули тело, но Жонеута уже не было на этой грешной земле — покинув одряхлевшее тело, его душа успела отлететь на небо.

СОДЕРЖАНИЕ

Баллада забытых лет.....	3
--------------------------	---

Серия «Библиотека казахской прозы»
Абиш Кекилбаев
БАЛЛАДА ЗАБЫТЫХ ЛЕТ
Повесть
Перевод с казахского
Анатолия Кима

Редактор *Б. Ильясова*
Художник *Л. Тетенко*
Художественный редактор *Ш. Байкенова*
Технический редактор *С. Бейсенова*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ҚОҒАМЫ
ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҚ



000001540451

ИБ № 72

Сдано в набор 3.05.2003г. Подписано в печать 18.05.2003г.
Формат 70х90 ¹/₃₂. Печать офсетная. Шрифт «Times/kazakhs».
Усл.печ.л 5,55. Уч.изд.л 5,72. Тираж 2000 экз. Заказ №520.

Издательство «Аударма», 473000, г. Астана, ул.Бейбітшілік, 25.
ЗАО «Астана полиграфия»,
473000, г. Астана, ул. Бейбітшілік. 25.

